

Мария
МЕТАИЦКАЯ

«Эта книга помогает
осмыслить жизнь»
В. Токрева

Главные
роли

Миром
правит любовь!



Мария Метлицкая Главные роли (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177988
Главные роли: АСТ, Астрель; Москва; 2009
ISBN 978-5-17-056320-3, 978-5-403-00514-2*

Аннотация

Обычная жизнь обычных людей.
Что в ней может быть интересного?
Но почему так хочется вечером заглянуть в чужое светящееся окно?
Узнать, что там, за затейливой портьерой или скромной кухонной занавеской.
В каждом рассказе Марии Метлицкой – история жизни.
Может быть, она похожа на вашу, а может, абсолютно иная.
Главное, что эта история не оставит вас равнодушными.
Обязательно «примерьте» ее на себя – ведь сегодня главные роли в пьесе жизни играют одни, а завтра – совсем другие.
Не исключено, что скоро и ваш выход...

Содержание

Все как обычно	4
Пустые хлопоты	13
Родная кровь	21
Адуся	29
Хоть Бога к себе призови	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мария Метлицкая

Главные роли (сборник)

Посвящается моей маме

Автор выражает благодарность Марии Барбашовой

Все как обычно

В три часа ночи я встала, тихо выползла из спальни, прокралась в кухню и открыла холодильник. Задумалась – и съела кусок селедки. Вот так вот. Представить страшно, а сделать? Еще минут сорок мучила совесть, но потом утомилась и она – вместе со мной. Проснулась с нытьем в правом боку и в паршивом настроении. И поделом! Пиши жалобу на себя. За окном январь, полное отсутствие снега и солнца, гнусная грязь и низкое, тяжелое, серое небо. Мелкий, морозящий и колючий, словно ноябрьский, дождь. С действительностью примирили чашка кофе и сигарета. Написала список дел на день. Что поделаешь, такая привычка – фиксировать. По мере исполнения – вычеркиваю. Чем больше зачеркнутых пунктов – тем больше я нравлюсь себе. Раздается звонок. Сын. Голос тревожный. Началось в деревне утро.

– Мам, у нас ягодичное предлежание!

Так, ничего хорошего. До родов четыре недели. Набираю побольше воздуха и говорю безмятежным и бодрым голосом:

– Точно как было с тобой! Ты перевернулся на тридцать девятой неделе.

Веселюсь, хотя знаю, что такое бывает ох как не часто.

– Да? – еще сомневается сын, но голос чуть веселее.

– Конечно! – вдохновенно продолжаю я. – Обычное дело. Перевернется, куда денется.

– Ну ладно, я работаю, – обрывает сын и кладет трубку. Можно подумать, что это я ему позвонила и сильно отвлекла от важных дел.

Кладу трубку и лихорадочно начинаю искать Светкин телефон. Мой медицинский авторитет в семье по-прежнему непререкаем, но все же Светка – оперирующий гинеколог. Она – в разделе «ценные люди». И точно, относится именно к ним.

Ее долго ищут по отделению, и наконец я слышу ее хрипловатый голос.

– У меня проблемы, – жалобно блею я.

– У тебя? – удивляется Светка. – А я думала, что они ушли под ручку с климаксом.

Острит.

– Ну, не у меня лично, а у Анечки. Анечка – это невестка, – напоминаю я.

– Помню, – резко обрывает Светка.

Я продолжаю:

– Ягодичное предлежание, срок тридцать восемь недель. Я думаю, может, еще перевернется, – с надеждой почти заигрываю я со строгой Светкой.

– Ты думаешь? – закипает Светка. – Ну да, я же забыла, что главный врач у нас ты.

Я все проглатываю. Ну не может Светка простить мне измену профессии. До третьего курса мы учились в одной группе, а потом я бросила институт и изменила всю свою жизнь. Но в конце концов, это она нам всем нужна, а не мы ей. Нас у нее – огромная туча. И все с проблемами. От своих проблем устаешь, а тут чужие.

– Посмотришь Анечку? – подбострастно спрашиваю я.

– А куда я денусь с подводной лодки? – тяжело вздыхает Светка и добавляет: – Завтра, в восемь ноль ноль, – и кладет трубку.

Сурово. На Светку я совсем не обижаюсь и с удивлением и тихой радостью обнаруживаю в себе не только нажитые годами хронические болезни, но и приобретенные чудесные качества характера. Как терпимость, например.

Бедная Анечка, думаю я. Ей сейчас так тяжело, а завтра вставать в шесть и ехать на другой конец Москвы. Я жалею Анечку, и мое сердце утопает в нежности. Это оттого, что я ее искренне люблю. Да-да, свою невестку Анечку. Бывает и так. Собственно, к жене сына у меня два требования, хотя что там требования, назовем это пожеланиями. Первое – чтобы она любила моего ребенка, и второе – чтобы она не была клинической идиоткой. И то и другое она выполняет с блеском. Ее способность находить компромисс меня потрясает. Моему сыну она прощает все его выпады и сглаживает острые углы. Я вижу, как она смотрит на него, держит его за руку и проверяет, надел ли он теплые носки. К тому же у нее золотая школьная медаль, красный институтский диплом, быстрый карьерный рост и внешность белокурого ангела. Какое мне дело до того, что она не варит борщ и не печет пироги?

– Какая ты у нас умница! – говорю я ей. Искренне, кстати, говорю.

– Как вы ко мне снисходительны! – вздыхает Анечка.

А меня в этот момент распирает от гордости. Боже, как я мудра! И мы обе остаемся довольны собой и друг другом.

Снова звонок. Муж.

– У меня под языком валидол, – сообщает он.

Это означает: у меня ноет сердце, настроение говенное, и ты должна немедленно среагировать на все это. Сигнал к тому, что надо начинать тревожиться и сочувствовать и вообще быть в курсе. Иначе все бессмысленно и болеть ему неинтересно. Так ему легче. А мне? Но кто же думает обо мне? И я немедленно реагирую. Встревоженным голосом я задаю четкие и конкретные вопросы:

– Где болит, давно ли, характер боли (тупая, острая, давящая).

Пусть Светка не смеется – три курса мединститута что-то да значат. И в семье я действительно главный врач.

Муж на мои вопросы раздражается. Позвонил-то он не для этого. Но все же я чувствую, что ему становится легче. Так всегда, когда кто-то разделяет твою проблему, знаю по себе. Я еще что-то озабоченно советую, но он уже раздражается и говорит, что я его отвлекаю. Я – его. Вот так-то. Понятно? Отбой.

Я смотрю на свой список и, вздыхая, начинаю его исполнять. Я чищу картошку, отбиваю мясо, отвариваю яйца к салату, вытираю пыль, начинаю танцы с пылесосом – моя ежедневная гимнастика. Про тех дураков, что пылесосят каждый день, – это про меня. Но вообще-то у меня собака и кошка. И обе пушистые. Одновременно я включаю стиралку и посудомойку – моих верных, а главное, молчаливых помощниц. Тут я вспоминаю, что Наташка не звонит уже третий день. Хотя у нее это не срок. Наташка – это дочь. Одновременно дочь и стерва. Почему стерва? Потому что хочет – звонит, не хочет – не звонит. Мы ее мало интересуем. В общем, живет своей жизнью. Полная противоположность брату. Но с этим я почти смирилась. Правда, не до конца – сейчас я особенно резко почувствовала это. Я понимаю, что больше не в силах выдерживать характер, теряю уважение к себе, но все же набираю номер ее мобильного. Она отвечает на шестой звонок. Я хорошо представляю ее в эту минуту: она беззаботно крутит руль, мурлыкая под нос какую-то песенку, и косится на определитель, рассуждая при этом, стоит ли ей брать трубку, если это – я. Потом я слышу ее протяжное и утомленное «аллоу-у».

– Ты – стерва, – сообщая ей уверенно я и напоминаю: – У тебя есть мать.

Она капризно и нараспев произносит:

– У меня плохое настроение.

Это такое у нее серьезное оправдание.

– Что-то с Юрой? – пугаюсь я.

– А что с Юрой? – напрягается дочь. – С Юрой все как всегда. Мои присутственные дни в его жизни – это вторник и четверг. Ничего нового.

Дело в том, что Юра женат, и даже более того – у него годовалый ребенок. Наташке он сразу объявил, что любовь любовью, а семью он не бросит никогда. Хотя... Никогда не говори «никогда». Мы-то это знаем. А он, видимо, еще нет – в силу молодого возраста. Я же говорю:

– Приличный человек. – Это я о Юре.

– А ты могла бы хоть раз подумать обо мне? – справедливо возмущается Наташка. – Я-то страдаю! Ты же моя мать, а не его теща.

В логике ей не откажешь.

– Лучше бы ты не страдала, а устроилась на нормальную работу, – начинаю свою песню я. Хотя понимаю, что этот наезд не в мою пользу.

– Ты позвонила, чтобы устроить скандал? – холодно осведомляется дочь.

Она уже обиделась. Вся в своего отца. С ними непросто. А со мной? Я беру себя в руки, в конце концов это мой ребенок, и ему сейчас плохо. Хотя ее проблемы, честно говоря, кажутся мне надуманными. С Юрой давно пора расставаться. Как говорится, невеста-то про-сватана. Да и к тому же грудной ребенок. Хотя он хорош собой, умен, остроумен, щедр и много зарабатывает. Но в принципе это должно радовать не нас, а его жену.

Кроме того, их путь к совместному счастью слишком тернист, да и плохо пахнет. Можно найти что-нибудь попроще. Хотя Наташке уже 25 и вообще-то пора замуж. В общем, все как обычно: сначала я обижаюсь на Наташку, а потом она обижается на меня. Так мы и живем.

– Когда заедешь? Я соскучилась, – кидаю я спасательный круг.

– Позвоню, – бросает Наташка. Все. Отбой.

– Позвонишь ты, как же. Опять дней через пять, – ворчу я. И ставлю варить овощи на винегрет. Господи, идиотская привычка – два первых, три вторых, как говорит моя мама. Утрирует, конечно. Но в целом... В сказке был раб лампы, а я точно раб кухни. Хотя дети уже живут отдельно, а привычка кашеварить, как на маланьину свадьбу, увы, осталась. А вдруг кто-нибудь из них заедет поужинать? Не вдруг и не заедет. У них дел по горло. И мои винегреты и борщи их не очень-то волнуют. А если и заедут, то я буду сладострастно мечтать, как все это я рассую по банкам и контейнерам им с собой. Хотя знаю, что они сначала предложат мне «не париться», потом начнут орать и ничего с собой не возьмут. Дураки! Я бы взяла.

Опять звонок. Мама. Она снова не спала и маялась всю ночь: мысли, говорит она. Отключать не получается. Это у нас семейное. Обсуждаем с мамой прочитанное за ночь. Почти на все мнения совпадают. Только она более доброжелательна и наивна. Рассказываю ей про детей и мужа. Естественно, в облегченном варианте. Поливать собственных детей и родного мужа неохота даже с мамой. Это моя личная прерогатива. Только я могу это делать в любом объеме. Остальные – ни-ни. Ни бабушки, ни отцы. Подруги это и так не делают. Они у меня умные. Мама подробно выпрашивает, как у нас дела. Как будто не знает – все одно и то же. Тьфу-тьфу, слава Богу! Но ей интересны подробности.

– Ты работаешь? – спрашивает она.

– Когда? – возмущаюсь я. И слегка обижаюсь.

Это вообще моя любимая тема – о том, что работать мне некогда. Хотя, если признаться, эту жизнь я делаю себе сама. Наверное, во мне все же первично другое. В смысле жена и мать. Хотя все считают, что писать – это мое главное и основное занятие. Все считают, но никто не считается. Сама виновата. Пора перестать хлопать крыльями над всеми ними.

– Кончай греметь кастрюлями и садись работать, – решительно напутствует мама.

И я опять злюсь. Вообще-то повторяется схема мать – дочь. Где-то я недавно это уже слышала!

Я вытираю пыль. Полироль пахнет лежалым бельем, а нарисован на ней ландыш. Собака ходит за мной по пятам. Ох, надо бы ее расчесать, мелькает у меня в голове. Но мне опять мешает звонок. На сей раз свекровь. Так, это на полчаса. Я приземляюсь в кресло и закуриваю. Горестно вздыхая, я пересчитываю окурки в пепельнице. Пятая сигарета за утро. Понимаю, что такое угрызения совести. Свекровь начинает рассказывать сон. Тщательно и с подробностями. Моя умнейшая бабушка говорила, что пересказывать сны и фильмы – удел малокультурных людей. Свекровь так не считает. Хотя считает себя почти аристократкой, откопав на старости лет какие-то невнятные, на мой взгляд, дворянские корни. Какой-то сомнительный дворянин трахнул ее бабушку-кухарку. Короче, есть чем гордиться. Теперь она завтракает сыром рокфор и пьет горячий шоколад (напиток «Нестле» из желтой баночки с зайцем). И говорит, что так завтракал ее дворянский предок. Черт его знает, может, и правда. Потом она вспоминает всех неизвестных мне лично родственников поименно. Потом жалуется на соседей – машины ставят прямо под ее окна (живет она, между прочим, на 10-м этаже).

– Господи, а куда же их ставить, эти машины? – оправдываю я соседей. – Ваш сын тоже ставит машину под чьи-то окна.

Но это не работает. Окна-то не ее, а сын как раз ее. И делает он всегда и все правильно. В этом она уверена. У меня по отношению к моим детям такой уверенности нет. Внуками, кстати, она не интересуется, мною тем более. Бодро рапортую, что у нас все чудесно. Это и так, и не так. Но мне так легче, да и ей тоже. В конце разговора она хвалит какую-то мне неизвестную Риточку – невестку опять же неизвестной мне Ольги Петровны. Подробный рассказ про ее пироги, чистоту и кружевные наволочки. Сама эта Риточка эти кружева, видимо, и плетет, что очень трогает мою свекровь. Представляю славную Риточку, склонившую милую гладкую головку над коклюшками с кружевами. Про мои заслуги и безупречную многолетнюю службу ни слова, ни-ни. Да и вообще про все остальное тоже. Ни одного доброго слова или комплимента. Ни-ког-да. Я стараюсь не обижаться. Иногда получается. Я об этом помню всегда (это я про комплименты и добрые слова) и с радостью говорю невестке Анечке, какая она умница и как хорошо она выглядит. И хвалю ее стряпню. Бутерброды, например. А что, действительно красиво – сыр, сардинка, ветчина, веточка петрушки. Вполне себе натюрморт. И мне это доставляет радость. Честное слово. Хотя, признаться, в душе я все же надеюсь на взаимность и хорошую Анечкину память. Видимо, для меня это важно, а для моей свекрови нет.

Теперь я вспоминаю про себя и вытаскиваю из холодильника крупную и слегка подвявшую клубничину. В зеркале в ванной я долго, внимательно и критично рассматриваю себя. Н-да... Восторга никакого. Знаю только точно, что раньше было лучше. В 45 обманули. Обещали «ягодку опять». Что-то я не заметила. Хотя... Я смотрю на подмятую с боков, потускневшую клубничину и думаю о том, что в принципе и ягоды бывают разные и что имелось в виду наверняка что-нибудь подобное. Я вздыхаю и мажу клубникой лицо. Маска. Говорят, полезно. О том, сколько в этой несезонной ягоде нитратов, я стараюсь не думать. Снова звонок. Смотрю на часы. Знаю точно – это Катюша. Это ее время.

– Ну как? – лапидарно спрашивает она. Здраваться у нее нет времени, она человек конкретный.

– Никак, – отвечаю я.

– Наташка звонила? – интересуется Катюша.

– Нет, я сама ее набрала. – Знаю, что сейчас меня осудят, но врать неохота.

– Ну и дура, – беззлобно отвечает Катюша.

– Я мать, – возражаю я.

– Ты дура мать, – уточняет Катюша.

– Может быть, – соглашаюсь я. – Но второе дороже. А потом, ее не переделаешь.

Вот с этим Катюша категорически не согласна. Она пытается переделать близких, мужа, свекровь, брата. И надо сказать, у нее это блестяще получается. Странно, что она не из династии Дуровых.

– А в остальном? – интересуется Катюша.

– У Анечки ягодичное предлежание. Андрей на валидоле, мама опять не спала, а свекровь освежила рассказ про чужую невестку – очень положительную, естественно, – конспективно отчитываюсь я.

– Ну а ты, ты работала? – нетерпеливо спрашивает Катюша.

– Угу, поработаешь тут с ними, – буркаю я.

– Сама виновата – посадила на шею, – обличает меня Катюша.

Это я и сама знаю, и что, мне от этого легче?

– Все, я бегу, – бросает Катюша.

– А у тебя-то что? – успеваю выкрикнуть я.

– Все о'кей, целую. – Отбой.

Ну хоть у кого-то о'кей, радуюсь я.

Теперь о Катюше. Она – из новых приобретений, такой вот подарок судьбы. Хотя что значит из «новых», лет семь прошло или даже восемь. С Катюшей мы познакомились в Турции, куда на неделю одну меня отправил муж. Прийти в себя. У нас вообще-то это не принято, но, видимо, смотреть на замученную меня ему было уже не вмоготу. Наташка тогда уже начала вовсю выпендриваться, Кирилла в очередной раз выгоняли из института, что-то там было еще, уже не помню. Путевка была горячей, и отель оказался полное дерьмо. Соотечественники, понятное дело, возмущались по любому поводу и громче всех. Им не нравилось даже море – они орали, что оно грязное. Я что-то этого не заметила. Мне вообще все это было по фигу. Главное, что меня никто не доставал. Я могла часами лежать в шезлонге и смотреть на море. Так я приходила в себя. Кроме меня, равнодушной к сервису и боям с администрацией оставалась еще одна девушка – худенькая блондинка в черном бикини, огромных черных очках и бейсболке. Когда она шла к морю, я, завидуя ее стройности, тяжело вздыхала: еще бы, молодая, не рожала, наверное. А потом, два изгоя, мы разговорились, и она сняла очки. И я увидела, что она вовсе не так молода, а скорее всего только слегка моложе меня. А еще я узнала, что у Катюши трое детей. И богатый муж. Да и сама она – продюсер известной программы на ведущем канале. Ничего себе! Я уважаю успешных женщин, а уж теми, кто не пренебрег по ходу устройства карьеры и детьми, – ими я просто восхищаюсь. Искренне и от души.

Сначала мы посмеялись над скандальными соотечественниками, потом осудили безрассудных немок, подставляющих вислые и дряблые открытые груди беспощадному турецкому солнцу. Потом Катюша остроумно рассказывала телевизионные сплетни и байки – спелись, короче. Ужинали мы уже вместе, с каждым часом радостно открывая друг друга, придя к заключению, что мы абсолютно родственные души. А уж когда Катюша начала читать наизусть километрами Бродского и Цветаеву, я в нее влюбилась окончательно. Так из Турции я привезла не дубленку, а верного друга и единомышленника. Хотя, впрочем, во многом мы с Катюшей не совпали. Карьера для нее все же на первом месте. Но у нее, слава Богу, сложилось все удачно – успешный и понимающий муж, бабушки, няни, роскошный дом, желтая «БМВ», за рулем которой Катюша смотрится как хрестоматийная новорусская жена – блондинка в «Армани» и «Прадо» – типичный персонаж из анекдотов про блондинок. И не все знают, что за плечами – трое детей, западная филология МГУ, три языка в совершенстве и кресло босса в «Останкине».

Лицо здорово стянуло – подсохла клубника. Я иду в ванную и подставляю лицо под сильную струю воды. Мне кажется, что я стала свежее и розовее. Наверное, все же только кажется. Так, теперь, как я понимаю, я имею полное человеческое право сесть за стол и разложить свои бумажки. Но мне опять мешает звонок. Так, опять муж, на сей раз бывший. На сегодняшний день его статус – друг семьи. Так не часто, но бывает. Теперь он делится со мной подробностями своей личной жизни и упоительно общается с моим вторым мужем. Собственно, к которому я и ушла от него когда-то. Это странно, ведь раньше они почти ненавидели друг друга. У первого были весомые причины ненавидеть второго: еще бы, ведь я смертельно влюбилась и ушла от него. А второй банально ревновал меня к прошлой жизни. Это нормально. Они даже не могли спокойно слышать имена друг друга. Но постепенно все как-то сгладилось, и они стали передавать друг другу приветы. Дальше – больше. Милое общение по телефону. На следующем этапе в чем-то помогли друг другу – один юрист, другой бизнесмен. Первый как-то сказал, что в общем-то понимает меня и еще что-то про то, какой его последователь классный мужик. И второй не задержался: «Я тебя не очень-то понимаю. Почему ты от него ушла? Он в принципе отличный парень». Что ж, им, наверное, виднее. Иногда, когда я слышу, как они воркуют по телефону – ну просто две горлицы, – мне кажется, не будь меня, они бы вообще слились в экстазе (в хорошем смысле, естественно). Я им явно мешаю. Контролирую ситуацию. И так, бывший муж.

– У меня не клеится с Яной (Ириной, Татьяной, Жанной).

– Неудивительно, – вредничаю я. – У тебя же нет диплома о наличии начального педагогического образования.

Это я так остроумно намекаю на юный возраст его подруг.

– Всем нужно одно и то же, – нудит он, – лавэ, шуба, Сейшелы. А человеческое тепло, понимание, чашка горячего бульона, наконец, – жалуется он.

Так, ясно, старые песни о главном.

– А приличную женщину найти не пробовал? – осведомляюсь я.

– Опыт оказался неудачным – она от меня сбежала, – бестактно напоминает он мне обо мне. – А потом, что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду нормальную зрелую женщину, лет тридцати пяти – сорока, пожившую, способную что-то оценить, – терпеливо объясняю я.

– С ума сошла? Это же уже старухи, – возмущается он.

Сволочь. Все-таки очень правильно, что я тогда от него ушла.

– Ну и мудохайся дальше. Каждый выбирает по себе, – многозначительно добавляю я.

Имея в виду, конечно, себя, прекрасную. Он ловит этот мячик и, притворно горестно вздыхая, говорит:

– Таких, как ты, больше нет. Что же мне теперь делать?

После этих слов я, естественно, смягчаюсь и начинаю давать умные советы. По крайней мере мне кажется, что умные. Ему вроде бы тоже. Он ведь вполне доволен. Он интересуется здоровьем своего преемника.

– Тебе интересно – сам позвони. Это же твой друг, – продолжаю острить я.

Потом он спрашивает, как дела у сына. Я его не грузю, знаю, что ему в принципе все равно. Главное, что сын здоров. Про Наташку он никогда ничего не спрашивает. Принципиально. То, что я ушла от него к другому мужику, с годами он смог пережить, а вот то, что я от кого-то родила второго ребенка... Этого он пережить не может до сих пор. Смешно, ей-богу. Вид меня беременной Наташкой потряс его до основания. Помню его глаза тогда. Это странно, но факт.

Терпеливо объясняю бывшему мужу, как надо жить дальше. Кладу трубку и чувствую себя практически матерью Терезой. Потом вспоминаю, что надо заполнить квартирные счета. Наверное, все-таки со мной что-то не так. Что-то мне все время мешает. И больше

всего то, что я не могу все это отодвинуть. И наконец заняться своим главным делом. Или мне кажется, что это мое главное дело. Плохо то, что я в этом сомневаюсь.

Я беру чистый лист и долго смотрю в окно. Пейзаж захватывает дух. Во-первых, 17-й этаж, во-вторых, под окном березовая роща. Сейчас графичная, черно-белая, – зима. Но она бывает разной – и изумрудно-свежей, и радостно-золотой, и ржавой, и печальной. В зависимости от времени года. За границей, наверное, за этот вид брали бы отдельные деньги. А тут – почти бесплатно. Все включено в квартплату. Пытаюсь сосредоточиться. Но очередной телефонный звонок сообщает мне: эй, спустись на землю! В покое мы тебя вряд ли оставим!

Я спускаюсь, не очень-то успев подняться. Мама. Соскучилась.

– Работаешь? – осторожно интересуется она.

– Поработаешь с вами! – рычу я.

Мама слегка обижается, но виду не подает. Ну ладно, пока я еще на земле, я вспоминаю о том, что надо позвонить Анечке и успокоить ее. Анечка мне рада – ну, так по крайней мере мне кажется. Я что-то плету про генетику, про то, как все было у меня и как мой благоразумный сынок пожалел меня и повернулся перед родами головкой. Анечка внимательно слушает и, по-моему, веселеет. Что и требовалось доказать. Потом я спрашиваю у нее, чего бы ей хотелось поесть, и она жалобно говорит, что хочет куриных котлет и клюквенного киселя. Желание беременной женщины – закон. Я чмокаю ее в трубку и достаю из морозилки куриное филе и клюкву. Какая же я все-таки запасливая, радуюсь я. Ну вот, пока это все подтает, я могу и... Как же! Разбежалась! Муж. На сей раз – действующий. Голос – патока. Ясно. Хочет жрать. И уже на подъезде к дому.

– Ну? – грозно спрашиваю я.

– Как дела, малыш?

Так, малыш. Видно, жрать хочет очень.

– Плохо, – рявкаю я.

– Соскучилась? – Голос-интим. Как после третьего свидания, а не двадцати пяти лет совместной жизни. Черт возьми, а меня это по-прежнему волнует. Я уже почти не злюсь. Понимаю, что после такого стажа семейной жизни дела у нас не так уж плохи.

– Готов к принятию пищи? – со вздохом интересуюсь я.

– Уже у подъезда, – доверительно сообщает он. И дальше уже повелительным тоном: – Грей обед.

Властелин, блин! А кто тогда я? Я собираю свои сиротские листки и освобождаю стол. Естественно, обеденный. Другого у меня еще нет. Не по ранжиру, наверное. Я ставлю на стол винегрет, селедку и квашеную капусту с клюквой и антоновскими яблоками. Остаюсь вполне довольна натюрмортом. Все-таки обычные, житейские вещи радуют меня не меньше творческих успехов. Наверное, жаль, что я не тщеславна. Грею борщ и наливаю холодный компот из мороженой вишни. Пока муж моет руки, мне звонит Аля. Аля – тоже из новых и приятных приобретений. Подружились мы с ней, гуляя с собаками. Наши вечерние прогулки – ритуал, приятный для нас обеих. С Алей мы обсуждаем политические новости, ругаем дурацкие сериалы (а сами их же и смотрим), возмущаемся по поводу бешеных цен, ругаем детей и критикуем мужей – так, слегка. Аля умная – не говорит ничего лишнего. Только то, что я хочу услышать. Идеальный собеседник. И еще она – красавица. Тонкая, изящная блондинка с зелеными глазами. Она так же грациозна и хрупка, как и ее собака – красавица афганская борзая. Если говорить про то, что собака похожа на своих хозяев, то это точно про Алю. У меня, кстати, чау-чау. Почувствуйте разницу. А заодно и сделайте выводы. Еще мы с Алей слегка тоскуем по прошлой жизни. Но это уже похоже на старческое брюзжание. Хотя... Я – за перемены. Но такие перемены мне тоже не по душе. Слишком много «но». С Алей мы быстро сворачиваемся – начинается священнодействие – кормление мужа. Мои

ритуальные танцы вокруг плиты и стола. Муж ест и помалкивает. Вообще кормить его неинтересно. Никакой душевной отдачи.

- Как суп? – подобострастно спрашиваю я.
- Горячий, – отвечает муж.
- А компот?
- Холодный.

Что ж, коротко и более чем ясно. Ей-богу, краткость – сестра хамства. Сколько лет я это слышу, а все равно обидно. Это у него, наверное, от его матери и его дочери Наташки – воспринимать все как должное. Хотя по большому счету он мной очень гордится. Катюша говорит, что я сама виновата. Тотально избаловала всех. Вот и получи. Вот и получаю. Мне обидно – столько потрачено времени и труда. Я человек благодарный и хочу благодарности от других. Хотя, наверное, это неправильно. В итоге же все равно, если задуматься, все делаешь для себя. Ну, в смысле, что тебе так спокойнее и комфортнее. И все же простое человеческое «спасибо» еще никто не отменял. Я не обедаю вместе с мужем, знаю, что потом захочется спать, – ночью я явно недобираю. Удивляюсь и завидую некоторым. Проснулись в шесть утра – и сразу писать. А я заснула в четыре. Если проснусь в шесть, то как минимум всех пошлю, а как максимум – поубиваю. Поэтому я и не обедаю, а варю себе крепкий кофе с корицей и кардамоном. И опять замираю у окна. Ловлю мысль. Только поймала – пришлось отпустить. Потому что позвонила Юлька. А это важнее работы. Юлька – это подруга, почти сестра. Мы вплетены друг в друга, как стебли вьюна. Если бы в быту уже существовала видеосвязь, то мы могли бы не общаться вербально, а просто смотреть друг другу в глаза. Как марсиане в старых советских фильмах. Но видеосвязи пока у нас нет, и мы с упоением говорим на родном языке. Можем час, а можем и два. Три, правда, не пробовали. Хотя, нет, наверное, бывало и три – в пору моего сумасшедшего романа с будущим вторым мужем. Тогда я мучила не только себя, но и Юльку вполне основательно. Мало не покажется. Но Юлька выдержала и это испытание. Как все и всегда – с честью. Ни разу меня не послал. Тогда Юлька забросила и сына, и мужа, не говоря уже про кастрюли. Часами слушала мои рыдания, абсолютно наплевав на свою семейную жизнь. Слава Богу, они не развелись, и даже, как утверждает Юлька, как тогда, у них с мужем не было давно. Так я простимулировала скучную семейную интимную жизнь. С Юлькой мы можем трепаться минут сорок, и нам никогда не бывает скучно. Юлька жутко воспитанная и все время спрашивает меня, не мешает ли она творческому процессу. Конечно же, нет, тем более что этот процесс еще и не начинался. Юлька знает обо мне все, и даже больше чем все. Мы жалуемся друг другу на плохую погоду и, как следствие, на самочувствие (при этом смолим не переставая), жалуемся на мужей и детей, смеемся над перлами свекровей (хотя и сами уже свекрови, и, наверное, не идеальные), вспоминаем себя молодых и здоровых и высказываем свое неудовольствие по поводу себя нынешних. В итоге мы приходим к выводу, что мы еще вполне молодухи и красавицы, обещаем друг другу не жрать по ночам и меньше курить. Хотя вряд ли это выполним. Но на душе становится легче.

С Юлькой мы дружим с шестого класса – с тех пор, как я перешла в новую школу. Сначала Юлька мне показалась очень надменной и высокомерной, и еще меня возмутили ее черные как смоль, густо покрашенные ресницы. Впоследствии оказалось, что ресницы натуральные, просто сказочно густые и черные от природы, а Юлька не воображала, а сдержанная и одинокая. Дружить мы начали сразу и взапой – гуляли вечерами вокруг школы, поедая из картонной коробки мороженые болгарские персики. Влюблялись, прогуливали школу, обе одинаково ни черта не соображали в точных науках и вместе обожали литературу и английский. Далее росли, взрослели, закалялись в жизненной борьбе, выходили замуж, рожали детей, разводились и влюблялись опять. Хоронили близких. И всегда оставались родными людьми. Даже тогда, когда видеться стали совсем редко.

Юлька уехала жить на природу. Там завела трех собак, развела сказочный цветник и стала писать дивные прозрачные акварели. Наша дружба с годами стала только прочнее, и знаю точно – ей уже ничто не грозит. Да, еще у Юльки есть удивительная и редкая способность абсолютно искренне радоваться чужой удаче и успеху. Не все так умеют. Сочувствовать проще. Во-первых, когда сочувствуешь, то ощущаешь себя благородным человеком, а во-вторых, собственные печали и заботы как-то меркнут и отступают. Становится легче.

Все, свернулись и с Юлькой. Совесть уже не мучит, а просто грызет. И еще ужасно хочется спать. Зеваю. Собрать мысли как-то сложновато. Нет, все-таки по первому своему призванию я точно домохозяйка. С этими утешительными мыслями брякаюсь на диван. Стыдно. Но очень сладко. Закрываю глаза.

Полчаса! – успокаиваю я свою совесть. Всего полчаса. Все равно после двенадцати начну колобродить. Когда наконец все утомится и оставят меня в покое. Все равно ведь не усну. А сколько я успею сделать! Часов до трех-четырёх утра. Это – мое время. Время, когда на другом конце Москвы уснет мой встревоженный и ответственный сын, обняв любимую беременную жену, заснет и моя неблагодарная красавица дочь на широкой груди любимого (дай Бог!) мужчины, а завтра, может быть, все-таки вспомнит обо мне. Часам к двум успокоится мама, обязательно приняв снотворное, повздыхав о каждом из нас. За стеной будет мирно похрапывать самый любимый и единственный муж на свете. И я сяду и, наверное, что-нибудь напишу. И кто-то прочтет это когда-нибудь. И если не с удовольствием и интересом, то хотя бы – надеюсь – без отвращения. И ночью мне опять захочется съесть горбушку черного хлеба с куском колбасы. И дай Бог, чтобы захотелось! И я опять засну, когда будет светать. И сон мой будет беспокойный и тревожный – ну, это уж как водится. Потому, что я буду думать о своих близких, которых я так люблю. И дай Бог, чтобы они, все вышеперечисленные, мне опять позвонили завтра.

Даже если они расстроят меня. И пусть жалуются на жизнь и здоровье. И попросят что-нибудь сварить или спечь. И это будет значить только одно: что я кому-то нужна и что они меня любят. И еще то, что я жива. И, слава Богу, жизнь продолжается. Такая сложная, извилистая, жесткая, но все же восхитительная жизнь. И я в который раз пойму, что в моей жизни первично. И это не расстроит меня, а скорее всего обрадует. В общем, все как обычно.

Пустые хлопоты

Молодой врач с серыми оловянными глазами спокойно сказал, что пока ничего не ясно, а ясно станет тогда, когда разрежут и увидят. Увидят что? Этого не знает никто. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее, но Вика готовилась к худшему. Что поделаешь, такой характер. И Вика Василькова приготовилась умирать. Неизвестно, как распорядится судьба. Вика вообще была абсолютной фаталисткой. И еще она была человеком крайне дотошным и педантичным.

Себя она называла реалистом, склонным, как все реалисты, к пессимизму. В этой ситуации она оставалась верна себе. Да нет, после визита к врачу поплакала, конечно, и даже обревелась – живая ведь. А потом села спокойно на кухне, посмотрела в окно и задумалась. И решила составить список неотложных дел, без выполнения которых, как она считала, ее миссия на земле не была бы вполне завершенной. На все про все у нее оставалось две недели до операции. Врач с оловянными глазами тянуть не советовал.

Вика вырвала лист из блокнота. Итак, по пунктам.

1. Переклеить обои в Ксюниной комнате (старые в дырках от подростковых постеров и флаеров).

2. Выстирать занавески – два раза (кухня и гостиная).

3. Вымыть все три окна (Ксюня, понятное дело, до этого доберется не скоро, года через три-четыре).

4. Вызвать электрика и починить наконец розетку на кухне (искрит, а это опасно). Вика выдергивает из нее шнур от чайника всякий раз, когда выходит из дома и на ночь, а кто рассчитывает, что Ксюня не забудет делать то же самое?

5. Починить молнию в осенних сапогах.

Вика призадумалась и этот пункт, вздохнув, решительно вычеркнула. Сейчас январь, и осенние сапоги ей уже вряд ли пригодятся. К чему тратить деньги? О том, что их доносит Ксюня, не было и речи. Ксюня носит черные мужские ботинки на шнурках и толстой рифленой подошве – зимой и летом. Значит, правильно – вычеркиваем.

Теперь по долгам. Негоже уходить на тот свет, оставляя долги на этом. Сто долларов соседке Ритке, полторы тысячи рублей Ольге Ивановне на работе. Да, еще заполнить квитанции по квартплате хотя бы на полгода вперед – Ксюня в этом точно не разберется. Хорошо, что есть деньги в заначке. Вика копила на новую дубленку цвета баклажан. Вспомнив о дубленке, Вика горько разрыдалась, и ей стало безумно себя жаль – этой дубленки у нее теперь не будет никогда. Потом она умылась холодной водой, выкурила сигарету и продолжила свой список.

Отправить сестре в Мурманск старую каракулеву шубу. Сначала думала перешить из нее жакет, но теперь-то это точно ни к чему. А сестра еще шубу вполне поносит. Да, не забыть положить в карман шубы письмо, где Вика просит у сестры за все прощения и еще очень хочет, чтобы та поменьше о ней горевала. Всякое в жизни случается.

Теперь из области нематериального. Расстаться с Василевским. Сделать это сейчас и самой. Сейчас, в свете событий, сделать ей это будет почти легко. Если бы не обстоятельства, не решила бы ни за что. А так можно уйти первой, громко хлопнув дверью. Пусть помучается! А правду ему знать не обязательно. Следующим пунктом – помириться с Рыжиком. А это даже труднее, чем хлопнуть дверью по предыдущему пункту.

Да, чуть не забыла: серьезно разобраться с Ксюней по поводу ее дурацких планов бросить институт и пойти работать диджеем в ночной клуб. Просто взять с нее клятвенное слово! И последним пунктом... Тут Вика серьезно призадумалась, надо ли вообще это вно-

свить в повестку, но, подумав, все же решила – надо. И написала: позвонить Курносовой в Израиль. Позвонить и все объяснить, а то как-то смешно и глупо, ей-богу, все получилось.

Внимательно просмотрев свои записи, Вика поняла, что охвачено все самое главное, а это означало, что надо браться и все это исполнять – строго по пунктам. Ну, с обоями все ясно, с занавесками тоже проще простого. Окна вымыть – ерунда, главное – надеть куртку, теплые носки и замотать голову шарфом – чай не лето на дворе. В ЖЭК позвонила – электрика обещали прислать через пару дней. Долги соседке и коллеге отдала – все удивились и обрадовались. Шубу достала с антресолей, проветрила на балконе, зашила дырявый карман. С письмом решила подождать день-другой. Начнешь писать – опять одни слезы. Легко ли простаться?

Теперь оставались дела посерьезнее. Итак, по Василевскому. Знакомы они были уже сто лет, с самого института. И тогда закрутился обычный студенческий роман – легкий и необременительный. Бродили по улицам, забегали в киношки на последний ряд, сидели в кафе-мороженом на Горького – два бокала шампанского, два пломбира с вареньем – на большее денег не было. Просили ключи от комнаты в общежитии, но она редко была свободна. Их так и звали – Васильки – фамилии-то однокоренные. Но хоть и однокоренные, а что такое Василькова? Простенько и незатейливо, без вкуса, прямо скажем. А Василевский – уже вполне себе фамилия. Звучит – будьте любезны. В общем, любовь любовью, а летом Вика улетела в Мурманск к сестре, а Василевский отправился с родителями в Крым. И там, в Рыбачьем, он закрутился с девицей из Таллина – та приехала погреться у теплого моря. Звали ее Майра. Дело кончилось обычным образом, по-житейски: погуляли – расстались. И Василевский с открытым сердцем и слегка подпорченным от своей случайной измены настроением вернулся в Москву, сильно тоскуя по Вике. Но не тут-то было. В конце ноября в Москву явилась эстонская Майра и предъявила Василевскому вполне образовавшийся живот. Деваться было некуда – сыграли свадьбу. Василевский тогда днями рыдал у Вики на плече. Днями – у Вики, а ночью, понятное дело, у Майры. Но встречаться с Викторией не перестал, теперь вот окончательно и твердо поняв, где любовь, а где чувство долга. Майру эту, кстати, Вика сразу стала называть Сайрой. Так и сложилось. Сначала Василевский просил Вику подождать год-два максимум – пусть ребенок чуть подрастет. А то как-то неудобно получается. Прошло четыре года, и Василевский полонил дочку всем сердцем. А на пятый год Вика разозлилась и выскочила замуж. Именно выскочила. За водителя-дальнобойщика. Но жизнь ее почти не изменилась: то дальнобойщик в рейсе и его нет, а если он есть дома, спит целыми днями – и как бы его опять нет. Через три года собрала ему вещички и выставила за дверь. Он даже не удивился. Из воспоминаний остались две покрышки на балконе и дочка Ксюня. Василевский поначалу почти оскорбился. Все возмущался – как же ты можешь предавать любовь? К нему эти претензии не относились. Себя он считал стороной пострадавшей, как ни посмотри. У него просто все так исторически сложилось, он не виноват. Себя он считал человеком приличным. После того как дальнобойщик тихо съехал, Василевский опять возник в Викиной жизни – прямо на следующий день, как черт из табакерки. Вика открыла дверь и увидела, как Василевский стоит, прислонившись к стене, заплетая ногу за ногу, и курит. Взгляд в пространство. А во взгляде – тоска и любовь. Помолчали минут десять, Вика вздохнула и впустила его в квартиру. Проявила слабость. Вот за эту слабость и расплачивается все последние шестнадцать лет. О его уходе из дома больше не говорили. Что оставалось, кроме любви? Одинокие праздники и выходные, в отпуск вдвоем с Ксюней, гвоздь забить – Вика, картошку притащить – опять она. А что Василевский? С карьерой не очень-то сложилось, дома Майра со взглядом сайры, радости никакой, одни повинность и оброк. Так что, с какой стороны посмотреть, Вика – счастливый человек, никакого ежедневного раздражителя в виде мужа, ни отрицательных эмоций, ни чужого человека в постели. Есть родная дочка Ксюня и еще свобода – хочу халву ем, хочу – пряники. Ни тебе носков грязных, ни борщей. Кого пожа-

леть? Правильно, Василевского. Вот она его и жалела. Два раза в неделю. Во вторник – в обеденный перерыв, в пятницу – с 18 до 21. Это называлось – клуб нумизматов, для Майры, разумеется. Но, как она ни храбрилась, конечно, в душе хотелось и борщей, и тихих семейных выходных, и каждый вечер, и каждое утро... Чтобы семья, чтобы как у людей, а не по штатному расписанию. И чтобы утром проснуться и просто так поваляться и поболтать, а потом, накинув халатик, бежать на кухню и варить ему кофе. И, открывая дверь в прихожей каждый вечер, класть ему голову на грудь – на минуту и зажмуриться – соскучилась. И знать, что это только твой человек. Твой, и больше ничей. И нету никакой на свете Сайры. Но Вика – гордая. Не хотите – не надо. Сами не попросим. А вот сейчас и пришло то время, когда можно Василевскому взять и прямо так сказать: «Знаешь, мой милый, я просто устала. – И еще так жестко: – Хватит решать проблемы за мой счет. Халява кончилась». Вот такой Вика придумала текст. И отрепетировала. Понравилось – коротко и веско. И минимум пафоса. Что и требовалось доказать. Эта акция была запланирована на следующий четверг – аккурат за день до отправки в больницу. Чтобы он не смог ее достать и выяснить отношения. А что будет дальше, ее уже не касается. Вернее, скорее всего не коснется. Так как потом ее уже не будет.

Теперь о Рыжике. Вот здесь все было куда как сложнее. Рыжик – бывший двоюродный брат. Бывших двоюродных братьев не бывает? Еще как бывает. Просто Вика вычеркнула его из родственников и из своей жизни. И было за что.

Изначально сестер было трое. Две старшие сестры, Евгения и Тамара, умерли молодыми и прекрасными, оставив сиротами своих уже, правда, взрослых детей – Вику и Рыжика. Из трех сестер осталась одна младшая и бездетная – их родная тетка Наталья. Ей и досталось от родителей кое-какое наследство – квартира на Кропоткинской, маленький подлинник Кустодиева, правда, совсем нетипичный, что-то блеклое и акварельное, и много еще чего из дамских украшений, может, и не очень дорогих, но точно очень старинных. Когда тетка Наталья состарилась и стала немощной, Рыжик переехал к ней, оформив квартиру на себя. Цацки начал планомерно таскать на Арбат в комиссионки, а Кустодиева удачно задвинул кому-то из литовского консульства. О Вике он предпочел на это время забыть. Не то чтобы Вика убивалась по этому барахлу, но было до смерти обидно – с Рыжиком они подружили всю жизнь с самого детства. Всегда были не разлей вода. Вика безоговорочно принимала всех его жен, дружила со всеми его любовницами, бежала к нему по первому зову, забыв про себя и даже про святые дни клуба нумизматов.

Но не цацки и квартира главное. И даже не Кустодиев. Главное и самое ужасное было то, что Рыжик стал абсолютной сволочью и безобразно относился к старой и безнадежно больной тетке Наталье. Орал на нее, толкал, издевался, да еще много всего было такого отвратительного, о чем просто неприлично говорить. На похоронах тетки они виделись в последний раз. Вика сказала ему, что он подонок, а он просто рассмеялся ей в лицо. Вика смотрела на этого упитанного полысевшего и наглого дядьку в дубленке нараспашку и в толстой золотой цепи на шее и вспоминала тоненького рыжеволосого мальчика с вечно расквашенными коленками, которого она, старшая сестра, защищала от дворовых разборок. И которому на ночь читала Диккенса. Вспомнила, как он дразнил ее Викушкой-индюшкой, когда она дулась на него.

С Рыжиком она не виделась восемь лет. Узнавала о нем что-то случайное, отрывистое – женился, развелся, опять женился. Конечно, боль понемногу утихла, отпустила, но все же мучилась и скучала она по нему беспредельно. Теперь вот она решила к нему поехать. Не позвонить, а именно поехать. Как-то все обиды меркнут и обезличиваются перед лицом смерти. День для этого определила – среда. Теперь оставалась Курносова, подружка со студенческих лет, та самая, которая отдавала им с Василевским ключи от комнаты в общежитии. Надька Курносова вполне соответствовала своей фамилии. Была она маленькой, полнень-

кой, круглолицей, с конопатым курносым лицом и ясными, как летнее небо, голубыми круглыми глазами. Вика обожала торчать в убогой общежитской комнатухе у Надьки. Надькина мать, тетя Поля, постоянно боялась, что бедная Надька в общаге оголодает, и бесперебойно присылала с проводником Надьке харчи. На широком подоконнике стояли емкости с солеными огурцами и помидорами, батареи банок с солеными груздями и опятами, под окном стояли компоты и варенья, а за окном в зимнее время, разумеется, висели авоськи с толстыми шматами розового сала с чесноком и домашние куры и утки. Когда Надька варила на огромной обшарпанной общаговской кухне домашнюю курицу, на запах сбегался весь этаж. Девчонки сидели у Надьки, ели курицу с лапшой и мечтали о любви. В деревне у Надьки оставался жених – Пашка-электрик. Фотография этого самого кудрявого добра молодца стояла у Надьки на тумбочке. Надька писала ему длинные письма о любви, а Пашка нервничал, ревновал Надьку к Москве и веселой студенческой жизни, строчил сердитые, короткие ответы, обещал приехать разобраться и задавал один и тот же ключевой вопрос – не завела ли легкомысленная Надька в Москве себе кого? Как в воду смотрел. Завела. Да не просто завела, а влюбилась без памяти. Ее возлюбленный был мал ростом, худ и носовит. Звали его Мушихай Ханукаев. Был он бухарским евреем. Мушихай Ханукаев, в обиходе просто Миша, тоже полюбил пампушку Надьку сразу и всем сердцем. И неосмотрительно решил на ней жениться. Его семья, конечно же, восстала. Начались революция, обстрел и баррикады. Надька и ее смелый возлюбленный отбивались, как могли. Мишина семья, надо сказать, была сильно небедной. Непокорному сыну в случае тотального послушания были обещаны: трехкомнатный кооператив в Ясенево, обставленный полированной румынской мебелью (спальня, столовая, детская), голубая сантехника, люстры из чешского хрусталя, ковры из родной Бухары, машина «Волга» 31-й модели бежевого цвета с велюровым салоном и тихая невеста из города Самарканда. Прелестная и пугливая, как горная серна. Без паранджи, но покорная и послушная. Но наш Ромео стоял насмерть. Отстоял.

Свадьбу гуляли в ресторане «Узбекистан». Вика никак не могла понять, чем отличаются бухарские евреи от бухарских же узбеков. На столе дымились плов и самса, женщины были в шелковых платьях и пестрых платках на головах с черными, подведенными к переносице бровями. Больше всего Вику поразило количество золотых зубов на душу населения. Золотые зубы переливались и горели не меньше крупных, с вишню, бриллиантов в ушах присутствующих женщин. Надькина мать, тихая и бледная тетя Поля, сидела зажавшись в углу и зачарованно смотрела на это пестрое и колоритное зрелище испуганными и удивленными глазами. На перепуганную Надьку нацепили килограмм золота и пышную, многоярусную фату. Были восточные песни и пляски, длинные и витиеватые тосты, а когда Вику и Надьку застучали в женском туалете с сигаретами в зубах, разразился скандал, который с усилием потушил жених. Вика приехала к Надьке на следующий день – помогать разбирать подарки. Поразило несчетное количество перламутровых сервизов с аляповатыми пастушками, шелковых пестрых покрывал и браслетов из дутого красноватого золота. Среди всего этого богатства ходила Надька в гэдээровском розовом пеньюаре с жестким многослойным кружевом и попыхивала сигареткой.

– Ничего, – говорила уверенно Надька. – Я им еще объясню, где раки зимуют. Еще попросят сальца с черным хлебушком.

Ага, как же, попросили. Через год, сдав сервизы с пастушками в комиссионку, Надька укатила в Израиль со всей обширной мужниной родней. Там она прошла специальный обряд и стала вполне себе правоверной иудейкой. Теперь Надька покрывала голову маленькой шапочкой, похожей на чалму, перестала носить брюки и научилась готовить лагман, фаршированного карпа и плов. К тому времени у нее уже было трое сыновей.

А обиделась Вика на Надьку вот за что. Тогда, в начале девяностых, когда в Москве были абсолютно стерильные прилавки, Вике до мурашек захотелось плетеный золотой брас-

летик и цепочку – их она увидела у одной своей знакомой, которая привезла все это как раз из Израиля. Стоило все это великолепиие 150 долларов. Вика подробно описала Надьке изделие и даже пыталась его нарисовать, получилось, правда, плоховато. И отправила Надьке 150 долларов – огромные по тем временам деньги. В ответ Надька прислала одну цепочку – тоненькую, хлипкую, совсем непохожую на Викину светлую мечту. От разочарования Вика расплакалась и набрала Надькин номер. Надька долго заверяла Вику, что цепочка шикарная и что стоит она гораздо дороже. И что выторговала она ее за эти смешные деньги с большим трудом и исключительно по блату – хозяин ювелирной лавки был двоюродный брат Надькиного мужа. И еще она убеждала Вику, что той сказочно повезло.

– Врешь ты все, – выкрикнула Вика, – просто ты стала такая же, как они!

– Кто «они», – тихо и медленно спросила Надька.

Вика уточнять не стала, но добавила, что Надька не подруга, а аферистка. Надька ответила, что Вика – завистливая сволочь и антисемитка и что знать она ее больше не желает. В общем, разругались они тогда смертельно и на всю жизнь.

Потом, как водится, для себя Вика пыталась Надьку оправдать – а вдруг она тут ни при чем и аферист скорее всего тот двоюродный брат. С антисемиткой она еще как-то смирилась, хотя это была явная неправда, но когда вспоминала про «завистливую сволочь», обида снова туго сдавливала горло. А теперь, в свете событий, все это казалось бредом и чепухой, и ближе Надьки за все эти годы подружки у Вики не было.

Вика сварила трехлитровую кастрюлю борща – Ксюня борщ обожала и могла его есть три раза в день – утром, запивая кофе, днем – компотом, а вечером – чаем. Потом она постирала занавески и стала готовить для Ксюни речь о ее дальнейшем будущем и необходимости высшего образования. Вечером появилась Ксюня – в джинсах на два размера меньше собственного, с голым животом и в ботинках-тракторах. При виде Ксюни, такой худющей и беззащитной, у Вики сжалось сердце, и в горле застрял предательский ком. Ксюня ничего этого не заметила, смолотила две тарелки борща и собралась отправиться спать. Но Вика ее притормозила и начала свою пламенную речь. Ксюня слушала невнимательно, откровенно зевала и накручивала на указательный палец колечки волос. Когда Вика замолчала и глубоко вздохнула, Ксюня вежливо осведомилась:

– Это все? – И добавила: – Зря ты, мам, столько энергии потратила.

– В каком это смысле «зря»? – испугалась Вика.

Ксюня беспечно добавила:

– Институт я вообще-то уже практически бросила, и еще, кстати, я выхожу замуж.

Вика опустила в кресло, и комната поплыла перед глазами. А Ксюня еще что-то вещала про какие-то три месяца.

– Три месяца до чего? – не поняла Вика.

– Не до чего, а чего, – объяснила Ксюня. – Срок у меня три месяца.

– Какой срок? – тупо спросила Вика.

– Тот самый, – ответила Ксюня. И еще добавила: – Да ты, мам, не волнуйся, у нас любовь, и жениха зовут Иржи, он чех, и этого ребенка мы очень даже вместе хотим, и жениться Иржи не отказывается. А жить скорее всего уедем в Прагу. Здорово, да, мам? – радовалась Ксюня. – Прага такая классная – Влтава, Карлов мост, Пражский град, Староместская площадь, куранты Микулаша из Кадани, кнедлики, ну, чего еще там?

– Кнедлики, – эхом отозвалась Вика и замерла, уставившись в одну точку.

– А с Иржи я тебя познакомлю завтра, хочешь?

Вика, как болванчик, кивнула головой. Ксюня посоветовала ей не расстраиваться, клюнула ее в щеку и ушла спать.

К часу ночи Вика стала приходить в себя. Ну, в общем, складывается все совсем неплохо. А даже если задуматься, то очень хорошо. Ксюня не останется одна – у нее теперь

есть почти муж. А скоро будет еще и малыш – она закрутится, завертится, и у нее совсем не останется времени, чтобы тосковать и страдать. К тому же, если она уедет в Прагу... А институт? Ну и черт с ним, с институтом. Да и что это за профессия для женщины – инженер-гидростроитель? А все могло быть гораздо хуже – Вика вспомнила про диджея в ночном клубе. Она почти успокоилась и даже стала засыпать, но тут представила Ксюниного ребенка – пухлого, розовощекого, теплого, описанного до ушей, которого она может и вовсе не увидеть и не взять на руки, – и она заплакала горько и безудержно.

К концу первой (и предпоследней, как она считала) недели Викиной еще молодой и несчастной жизни она выполнила все первые и наиболее легко исполнимые пункты плана, который она назвала «Приведение в исполнение жизненно необходимых действий». И готова была приступить к части второй и более сложной – «Очищение совести во имя успокоения души».

В среду она поехала к Рыжику – звонить ему ей почему-то было сложнее. Что скажешь по телефону? А если посмотреть друг другу в глаза? У знакомой двери на Кропоткинской она встала и призадумалась, стоит ли вообще нажимать на кнопку звонка, но потом вздохнула, собралась с духом и решительно нажала. Через пару минут дверь с грохотом распахнулась, едва не ударив Вику по носу, и на пороге образовался мальчик лет пяти, толстый и щекастый, с коротким рыжим ежиком на круглой голове.

- Ты кто? – без «здрасти» спросил мальчик.
- Мне нужен Владимир Борисович, – объяснила Вика.
- А папки нету дома, – буркнул мальчик.
- А ты его сын? – удивилась Вика.
- А кто же еще, понятное дело, – бросил он.
- А как тебя зовут? – разволновалась Вика.
- Ну, тетя, сколько вопросов. – Мальчик скорчил недовольную гримасу и осведомился.
- А чего надо?
- Ничего не надо, – успокоила его Вика. – А папа твой здоров?
- А чё ему делается? – удивился мальчик.

Вика кивнула и подошла к лифту. Лифт стоял на этаже и тут же открылся. Когда Вика зашла в лифт, мальчик крикнул ей вслед:

- А что папке передать? Кто приходил?
- Передай, что приходила Индюшка, – ответила Вика, и двери лифта плавно закрылись.

Она услышала, как мальчик громко рассмеялся.

С Василевским она решила до четверга не тянуть. Дома она налила бокал красного вина, наполнила ванну, бросила туда перламутровые цветные шарики с пеной, забралась в душистую теплую воду, залпом выпила кислотоватое вино и набрала номер Василевского.

– Что? – услышала она недовольный голос Василевского – он не любил, когда его беспокоили не ко времени.

- Всё, – лапидарно ответила Вика.
- В каком смысле? – удивился Василевский.
- В прямом. Я от тебя ушла, – объяснила Вика.
- Далеко? – усмехнулся он.

«Дальше не придумаешь, – подумала она про себя, а вслух произнесла заранее приготовленную и отрепетированную речь. Затем, не дождавшись ответа, решительно нажала на „отбой“. И нырнула с головой в пышную пену. Слава Богу, Василевский не перезвонил. „Осмысливает, – удовлетворенно подумала Вика. – Или обиделся. Что ж, и это не повредит, пусть помучается“, – мстительно и с удовольствием подумала она.

На следующий день она набрала Надькин номер.

- Хэлло! – услышала она до боли родной голос.

– Надька, – прошелестела взволнованная Вика.
– Господи! – ответила Надька, и они обе замолчали.

Потом Вика спросила:

– Ну как ты там?

– Четвертого жду, может Бог пошлет девочку, – всхлипнула Надька. – А у тебя что?

Как Ксюня?

– У меня все хорошо, Надька, – врала Вика, – и Ксюня на месте, правда, слегка беременная, и Василевский присутствует.

Зачем Надьке знать всю невеселую правду? Не за этим она ей звонила.

– Ксюня? Уже? – ойкнула Надька. – А кто у нее муж?

– А муж у нее чех, Иржи называется.

– Чех? А парень-то хороший, тебе нравится? – продолжала охать Надька.

– Классный! – уверила ее Вика. – «Знала бы Надька, что я его вообще не видела!»

– А Василек с килькой не разделался? – поинтересовалась Надька.

– С Сайрой, Надька, ты забыла, – напомнила Вика.

– Ну, а с Рыжиком ты помирилась? – сыпала вопросами подруга.

– Да, все классно, он женился, у него чудный мальчишка, тоже рыжий, – оживилась Вика. – Общаемся, а как же. Что было, то прошло, брат все-таки. Да и вообще жизнь всех научила: надо уметь прощать, особенно родным людям.

– Точно! – обрадовалась Надька. – Это ты очень правильно сказала, – помолчав, добавила она.

Потом они еще болтали минут двадцать, и уже вовсю солировала Надька, подробно рассказывая про детей, мужа и всю его родню. Свою мать, тетю Полю, она тоже перетащила на Землю обетованную, и тетя Поля вовсю помогала ей с детьми, периодически рыдая по брошенной избе-пятистенке и огороду в деревне Кислицы. Когда Надька полностью отчиталась, Вика тихо попросила ее:

– Прости меня, Надька!

Надька смутилась и ответила:

– Да за что, Господи, я уже ничего не помню. Но ты меня тоже прости, ладно? Кто старое помянет...

В пятницу Вика отправилась в больницу, Ксюне сказала:

«Так, ерунда, киста какая-то крошечная, ничего серьезного». Еще не хватало расстраивать дочь, в ее положении!

В понедельник сделали операцию, и вечером, когда Вика окончательно оклемалась от наркоза, к ней в палату зашла дежурная врачиха – немолодая, полная, с уютным лицом.

– Все плохо? – тихо спросила Вика.

– Что «плохо»? – удивилась врачиха.

– Ну, у меня там, сколько мне осталось?

– Господь с вами, в каком смысле «осталось»? – испугалась врачиха. – Все у вас нормально, обычная миома, рановато, конечно, но сейчас – увы – такая статистика. Подождем неделю биопсию, но я абсолютно уверена.

– Абсолютно? – прошептала Вика и через минуту разревелась.

– Тихо, тихо, швы! – испугалась врачиха и погладила Вику по руке.

А она никак не могла успокоиться, и еще очень разболелся живот. Ей сделали два укола – успокоительный и обезболивающий. И она уснула. На следующий день, к вечеру, пришла Ксюня. Как раненого бойца взвалила на себя Вику, и они медленно пошли по коридору. Через неделю пришел ответ из лаборатории, и Вику выписали домой. Она была еще очень слаба, и Ксюня одевала ее, как ребенка, и застегивала ей сапоги. Они медленно вышли на улицу, и у ворот Вика увидела Василевского. Он стоял у машины и курил.

– Привет, – сказал он ей.

– Привет, – ответила Вика и укоризненно посмотрела на Ксюню. Ксюня пожала плечом и отвела глаза.

Домой они ехали молча, и Вика даже слегка задремала. Ксюня открыла дверь в квартиру, и из кухни вышел очень высокий и очень кудрявый парень в Викином переднике. Вика растерянно и смущенно кивнула:

– Мам! Иржик приготовил кнедлики со свиной и кислой капустой!

И правда, запахи с кухни доносились умопомрачительные. Вика сглотнула слюну, и впервые за последние несколько недель ей по-настоящему захотелось есть.

– Сейчас, только пойду переоденусь, – крикнула Вика. Она зашла в свою комнату и в углу увидела большой коричневый чемодан. Иржин, наверное, подумала Вика и открыла шкаф. В шкафу ровнехонько, одна к одной, висели рубашки Василевского, а на полках аккуратно были разложены свитера, майки, трусы и носки. Вика переделалась и пошла в ванную. Там, в ванной, на полочке стояли пена для бритья «Жиллетт» и одеколон «Арамис». Ее любимый запах. Точнее, запах ее любимого мужчины. Она приняла душ, подкрасила губы и глаза и зашла на кухню. Иржи и Ксюня накрывали на стол. На подоконнике в вазе стояли ее любимые белые гвоздики. А рядом лежала красная кожаная коробочка.

– Это тебе, мам, – кивнула на коробочку Ксюня.

В коробочке лежали толстая, крученая в веревку цепь и такой же плетеный браслет. Вика застегнула браслет и вытянула руку – полюбоваться.

– Твоя работа? – сурово спросила она Василевского.

Он смутился и отрицательно замотал головой.

– Это от тети Нади, мам, дядька какой-то принес. Смешной такой, в черной шляпе и с пейзажами.

Потом все сели за стол и выпили шампанского, хотя Иржи был недоволен и настаивал на пиве, которое, разумеется, было бы более уместно к кислой капусте и свинине. Но Ксюня объявила, что сегодня семейный праздник, а на праздник положено пить шампанское.

За столом сидели: вполне милый будущий зять Иржи, счастливая Ксюня с Викиным внуком в животе и любимый и смущенный Василевский. Квартира сияла чистыми окнами, свежими занавесками и новыми обоями.

А потом Вика устала. И Василевский уложил ее в постель. Они ни о чем не говорили, ничего не обсуждали. Им все было ясно без слов. А когда Вика почти заснула, раздался телефонный звонок, и она взяла трубку, лежащую на тумбочке у кровати.

– Привет, Индюшка! – услышала она знакомый голос. – Как дела? – спросил Рыжик.

Вика подумала и уверенно сказала:

– Прекрасно! – И еще раз повторила по слогам. – Дела у меня действительно прекрасно!

И это было абсолютной правдой.

С Рыжиком они проговорили около часа и могли бы говорить еще, но Вика очень хотела спать, и совсем не было сил. Засыпая, она подумала, что нужно срочно отнести в починку осенние сапоги, потому что хоть на улице и январь, но все уже начало таять, ну просто как в марте. Ну, знаете, этот наш сумасшедший московский климат. Ну да, сапоги и что там еще? Ну, в общем, список дел, как обычно. Житейские хлопоты, ну и вообще, когда такая большая семья... А потом она уснула. И ей приснилась дубленка цвета баклажан.

Родная кровь

Последний четверг каждого месяца – Ляля чтит это свято – она ехала на кладбище. Каждый месяц – так было заведено еще при жизни мамы – папа ушел на два года раньше. Пропуск по уважительной причине мог быть только один-единственный – высокая температура, точно больше 37,5, или опять же высокое давление. Цифры 150 на 100 не принимались.

Зимой, конечно же, было совсем тяжело – неблизкий путь до метро по скользким, как всегда, не чищенным дорогам, потом ставшие с возрастом почти неприступными высокие и крутые ступени автобуса, далее собственно сам автобус, как правило, набитый до отказа приезжими людьми с объемными кошелками, и, наконец, сама дорога к могиле – местами по сугробам или опять же по коварному, припорошенному поземкой льду. Могила – увы – находилась в глубине кладбища, даже скорее ближе к концу его, и немолодая, крупная и неуклюжая в тяжелой старой шубе, Ляля с трудом пробиралась между высокими прутьями чугунных оград. Охая и ворча, она вновь обнаруживала новые памятники, втиснутые на первые, более престижные ряды вдоль дорожек, непозволительно тесня друг друга и напирая своей помпезностью и дороговизной.

Памятника на могиле родителей было два. Первый, еще поставленный мамой отцу, был из черного габро с овальным фарфоровым медальоном и довольно большим, по мнению Ляли, текстом – последним материнским признанием мужу в любви. Когда ушла мать, добить фамилию и даты на невысоком камне было уже практически негде, и Ляля вышла из положения просто – возле пышного цветника к подножию отцовского камня была прибита на бронзовых болтах дощечка из белого мрамора. В общем, получалось, что и после жизни мать была у отца «в ногах», что, впрочем, вполне соответствовало ее земному существованию и мировоззрению. Правда, дощечка активно Ляле не нравилась, и постоянно точила мысль, что надо бы сделать один общий камень, и она подобрала даже их общую фотографию, так любимую когда-то матерью. Молодые и смеющиеся родители в Кисловодске в обнимку. Мать – совсем еще худенькая, легкая, светлые кудряшки и цветное крепдешинное платье. Отец – уже полысевший, но еще крепкий – о-го-го, в белой тенниске, обтягивающей широкую грудь, в полосатых пижамных штанах, с бадминтонной ракеткой в крупной руке. Но, как всегда, денег на памятник не хватало, да и возможное предстоящее общение с кладбищенскими барыгами вызывало брезгливость и ужас, и, мучаясь, Ляля опять откладывала эту проблему до будущей весны. Был ранний апрель, солнце уже вполне припекало, и даже слегка, самую малость, запахло весной. Но все же это было еще такое нестойкое и обманчивое тепло, и практичная Ляля все еще ходила в старой мерлушковой шубе и тяжелой норковой шапке-чалме, зато сапоги надела резиновые – предусмотрительно, правильно предполагая распутицу и грязь на кладбищенских дорожках. Иногда, правда, в более щадящее время года, компанию ей составляла соседка и подружка давних лет Розка-Резеда, но это было только тогда, когда окончательно сходил снег и уже выскакивали узкими острыми стрелками первые крокусы. У Розки-Резеды на том же кладбище лежал муж.

Тогда их поход удлинялся – сначала Лялины родители, потом неблизкий путь к Розкиному Гаяру. Ляля всегда просила Розку: «Иди, догоню». Хотелось постоять одной в тишине и поговорить про себя с мамой, а Розка не умолкала ни на минуту. Сейчас эта Розка лежала дома с бронхитом, и Ляля поехала одна, чему, честно говоря, была несказанно рада. Настроения общаться не было никакого, да и с утра, впрочем, как обычно, было приличное давление. В автобусе, идущем от метро к кладбищу, слава Богу, нашлось место, и Ляля тяжело плюхнулась с краю, подобрав полы длинной шубы. У окна сидела немолодая женщина со скорбным выражением лица в маленькой черной старомодной шляпке из белесого уже бархата. Ехать до места было минут пятнадцать, и через несколько минут женщина в шляпке

обратилась к Ляле. За пятнадцать минут пути словоохотливая спутница со скорбно поджатыми губами успела сообщить конспективно о себе почти все – что она уже девять лет как на пенсии, бездетна, вдовееет уже четырнадцать лет и сегодня святой день – день рождения покойного мужа. Хотя и жизнь она с ним прожила – врагу не пожелаешь, не дай Бог, тьфу-тьфу, никому, но все простила и скучает по нему сильно, хотя только вот сейчас, после его смерти, обрела наконец долгожданный покой. Ляля морщилась, но кивала, она не любила случайных знакомств, а уж тем паче не ждала подобных откровений. Из автобуса вышли вместе. Случайная соседка, мелкая и сухая, выпрыгнула легко первая и услужливо протянула Ляле узкую, мелкую ручку.

Не отстанет, с тоской подумала Ляля. Шла она тяжело, медленно, осторожно пробуя скользкой подошвой дорогу. Случайная знакомая шустро семенила рядом и бесконечно говорила, говорила. Потом она сочувственно прихватила Лялю за локоть, как бы поддерживая ее, на что Ляля сухо и резонно заметила, что если рухнет она, то обязательно потянет за собой и ее – услужливую и добровольную помощницу, но та беспечно махнула рукой, продолжая без умолку трещать. Ляля искоса с раздражением глядела на нее, и тут в голову пришло – Пуговица. И вправду, лицо ее – плоское, белесое, с маленькими глазками без ресниц и курносый носом с открытыми крупными ноздрями – было похоже на старую стертую бельевую пуговицу.

Росту она была маленького, легкая и сухая, чему Ляля, набравшая за последние годы килограммов пятнадцать лишнего веса к своему предыдущему, тоже вполне лишнему, искренне позавидовала. Все это непременно и тут же сказалось на здоровье – одышка, больные ноги. Но бороться с этим Ляля уже перестала, смолоду поняв неравность этой схватки. А какие радости сейчас на пенсии, Господи, еще отказать себе в таком любимом черном хлебе, пирожном, шоколаде? У телевизора или под книжечку. Пуговицу она почти не слушала, думая о своем и мечтая только о том, чтобы навязчивая попутчица поскорее свернула на одну из аллей. Но им оказалось по пути, чему та была несказанно рада. Совсем, видимо, одинокая, подумала с жалостью Ляля, включаясь в ее болтовню. Смешно закатывая маленькие круглые глазки, теперь Пуговица рассказывала о том, каким красавцем был ее покойный муж:

– Бабы гроздьями, гроздьями всю жизнь, до самой смерти. А у гроба? Да что творилось у гроба, – причитала она, – налетели как мухи на мед.

– Сравненьице, – усмехнулась Ляля.

– Да, именно как мухи и у гроба устроили представление, – продолжала со вкусом Пуговица. Было видно, что вспоминать ей все это нравилось. – И рыдали, и на гроб бросались, и даже две сцепились – почти подрались. Поскорбеть не дали, – шмыгнула носом Пуговица и вытерла глаза платком.

Ляля, тяжело дыша, остановилась, ища глазами скамейку.

– Посидим? – обрадовалась ее спутница.

Ляля вздохнула. Она опустилась на сырую скамейку и расстегнула ворот шубы. «Пальто надо было стеганое надеть и платок, вечная манера натянуть на себя черт-те что», – с раздражением подумала она.

Пуговица не останавливалась ни на минуту:

– Я их понимаю, им досталось все лучшее – его мужская сила, молодость, красота, ну и все остальное. – Тут она многозначительно замолчала и уставилась на Лялю: – Вы понимаете, о чем я?

Ляля кивнула.

– Мужчина он и вправду был феерический.

«Ну идиотка, – с отчаянием подумала Ляля. – Господи, феерический! Апофеоз глупости. Вечером с Розкой посмеемся».

– А вообще-то... – Тут Пуговица замолчала и уставилась в одну точку. А потом продолжила: – А вообще-то он был вор.

– Как вор? – переспросила слегка растерявшаяся Ляля.

– Так – обычно. Обычный вор-рецидивист, отсидел четыре срока. – Она опять замолчала, скорбно поджав сухие губы.

«Нет, дикость какая-то, – раздраженно подумала Ляля, – мало того, что приклеилась ко мне намертво, так тут еще страстями нешуточными задушить решила, просто сериал какой-то дурацкий. Или все врет, все придумала, с такой овцы станется. Скорее всего. Как всегда, на мою бедную голову».

– И что же он воровал? – с издевкой поинтересовалась Ляля.

– Кражи. Квартирные кражи, – четко ответила Пуговица. – Иногда у своих же богатых любовниц. Как получалось. Некоторые на него даже не заявляли. Как когда.

Она опять замолчала, но Ляле послышалась даже какая-то гордость в ее словах.

– А вы что же? Все знали и терпели? И баб этих бесконечных, и отсидки? – спросила Ляля.

– И передачи, и свидания в Мордовии, и поселение – тринадцать абортот от него сделала, два выкидыша.

– Любили? – уже почти с сочувствием спросила Ляля, теперь, почему-то окончательно поверив ей.

– До смерти, – тихо произнесла Пуговица. Потом подвинулась к Ляле вплотную и страстно зашептала: – Об одном Бога молила – чтобы он его инвалидом сделал, безногим или безруким, чтоб только мне одной, только мне бы достался, – грех, конечно. И горшки бы выносила, и в туалет бы на руках носила, только чтобы я одна и никого больше, понимаете?

Ляля кивнула. Они несколько минут молчали, а потом Ляля со вздохом поднялась с надеждой наконец распрощаться со своей невольной попутчицей. Где там! Пуговица продолжала мелко семенить за Лялей.

– А участок, участок у вас какой?

– Сорок третий, – буркнула Ляля.

– Господи, ну надо же, – обрадовалась Пуговица. – А у меня – сорок второй.

Потом они свернули с центральной аллеи, и Ляля опять попыталась распрощаться с ней. Но новая знакомая продолжала восхищаться уже вслед уходящей Ляле, что ее – она так и сказала: «моя» – могилка на границе Лялиного участка: «Вон – через три ряда, ну, мы с вами оказались еще и соседями».

– Окажемся, возможно, – бросила Ляля через плечо. Ляля прибавила шаг, но Пуговица нагнала ее и потянула за рукав.

– Пойдемте, покажу вам памятник, в прошлом году поставила, полторы тысячи долларов, – настаивала Пуговица.

«Ну что за навязчивость такая, ну ни такта, ни ума, ни понятия, – со злостью подумала Ляля. – А ведь не отвяжется ни за что. Таким ведь все нипочем. Только о своем». И Ляля покорно поплелась за ней.

Жидкая грязь, перемешанная с подтаявшим снегом, чавкала под ногами. Нет, хорошо, хоть резиновые надела, вот отмывать только потом, мелькнуло в Лялиной голове. Они завернули за высокий, почти двухметровый памятник из белого мрамора, с нелепым бронзовым вазоном в изголовье, и тут Пуговица остановилась.

– Вот, – гордо сказала она и кивнула на серую гранитную стелу с нечетким барельефом мужского лица. Ляля скользнула взглядом. «За эти деньги я бы поставила другое», – мелькнуло у нее. Цены она знала хорошо. Потом она прочла текст – нелепую и пошловатую эпитафию в стихах, а дальше увидела фотографию в узком металлическом багете, стоявшую у подножия памятника. И тут у нее перехватило дыхание и гулко и часто забухало сердце.

На минуту ей стало нехорошо и слегка качнуло в сторону, и она схватила рукой чугунный шар ограды.

«Вот и встретились, – пронеслось у нее в голове. – Ну здравствуй, моряк-подводник, каперанг, твою мать. Господи, просто бразильское кино».

Пуговица продолжала хвастаться и гордиться памятником. Ляля с трудом взяла себя в руки и твердо, слегка осипшим от волнения голосом распрощалась с ней, сославшись на время и жестко сказав той, что на кладбище ей хочется побыть одной. Пуговица растерянно и обиженно замолчала и заморгала, а Ляля решительно развернулась и стала пробираться между тесными оградами. Дрожащими руками она открыла длинный металлический ящик с кладбищенским инвентарем – веником, совком, полупустыми банками с краской для ограды, вытащила складной стульчик и плюхнулась на него. Хлипкие металлические ножки стульчика глубоко ушли в раскисшую землю. Она расстегнула шубу и понемногу стала приходить в себя.

В середине семидесятых молодая замужняя Ляля уезжала на юг. Горящую путевку предложили в профкоме – это была неслыханная удача, и нервы, разумеется, – кто-то отказался от путевки в последний момент, в предпоследний перед отъездом день, и у Ляли как раз был только что оформлен отпуск. Все случайно совпало. Встревоженная и возбужденная, Ляля боялась, что не достанет билет на поезд: конечно, ведь самый сезон. Но помогли связи отца, и вечером она спешно кидала в чемодан летние вещи, сетуя на то, что не успела купить новый купальник, и со слезами разглядывала оторвавшийся ремешок на старых босоножках. Муж был, как всегда, спокоен и невозмутим, Лялю тормозил и выделил из заначки на румынскую стенку сто рублей. Мама жарила курицу в дорогу, а отец подбивал набойки на выходных туфлях. Ночью Ляля спросила у мужа: «Не сердись?» Он искренне удивился и сказал, что рад и счастлив такой удаче. Поплакав от волнения, Ляля под утро уснула.

Замужем она была уже шесть лет. Брак был ровный и спокойный, четкий и размеренный, как и сам Лялин муж. В общем, брак их без ярких вспышек был вполне... дружественный. Работал муж в ФИАНЕ – крупном и известном свободными нравами физическом институте, был старше Ляли на восемь лет. Ляля уже почти смирилась с устойчивой скукой и однообразием их жизни, убедив себя, что это и есть покой и надежный оплот, что, наверное, не всякая женщина имеет в семье, но наверняка именно об этом и мечтает.

Жили с Лялиными родителями, жили дружно, вернее, спокойно, уважая привычки и волю друг друга. Мать с отцом относились к зятю почти тепло, а главный материнский критерий оценки был таков – приличный человек. А за этим стоит очень много. Даже почти все. Он и вправду был приличным человеком – уравновешенным, неприхотливым в быту, не жадным, уважающим чужое пространство. А что до скуки, так у кого особенно весело, думала Ляля про близких и дальних подруг. У одной муж погуливал, у другой – попивал, у третьей был жаден и не давал ни копейки. В общем, сложилось мнение, что Ляле повезло больше остальных, пришлось в это поверить и ей. Правда, точила и беспокоила мысль, что не получается с детьми, но поход к врачам и долгие обследования пока откладывала, убеждая себя, что годик-другой еще вполне можно подождать. Бывает же и так.

На вокзал с ней поехал муж, отпросившись с работы. Ляля опять нервничала, без конца проверяя то билет, то путевку, опять всплакнула и загрустила – первый раз они расставались на долгих 24 дня. Муж благородно уговаривал: «Ни о чем не заботься, отдыхай, набирайся сил». Они расцеловались, и он вышел из вагона. Поезд дернулся и тронулся, и Ляля уже махала ему в окно. Потом она достала из чемодана халат и шлепанцы, переделалась и сразу успокоилась и даже повеселела. И спустя два часа уже с удовольствием грызла куриное крылышко.

Попутчиками Ляли оказалась веселая студенческая пара молодоженов, занимающаяся черт-те чем беспрестанно на узкой верхней полке. И когда раздавались очередные усилен-

ные сопение и возня, Ляля тактично удалялась в коридор и стояла долго у окна. Ночью в Курске в купе зашла пожилая дама и тут же улеглась спать. Ляля тоже уснула, а утром, когда открыла глаза, с радостью обнаружила за окном совсем другой пейзаж. Уже не было темных и густых хвойных лесов и светлых прозрачных березовых рощ. В основном поля, поля, редкие мелкие пролески и белые светлые хатки – вместо темных, рубленых, мрачных российских изб. И обязательно яркие палисадники у крыльца – круглые георгины, пестрые астры и высокие острые гладиолусы. Проснулась и новая попутчица, которая оказалась учительницей музыки да и просто дамой, приятной во всех отношениях. На юг она ехала к своей старинной школьной приятельнице. Она торжественно извлекла из дорожной сумки банку настоящего бразильского кофе, и Ляля принесла от проводника кипяток.

Молодожены безмятежно спали на одной полке, и никакая сила не могла бы их растащить.

– Молодость! – мило улыбнувшись, доброжелательно прокомментировала дама.

– Любовь! – почему-то вздохнула Ляля.

Дама, прищурившись, внимательно посмотрела на Лялю.

– Завидуете? – усмехнувшись, спросила она.

– Да Господь с вами, – смущенно отмахнулась Ляля. – Я замужем, – поспешно добавила она.

– Ну при чем тут это? – усмехнулась дама.

На станциях Ляля выбегала к газетному киоску, покупала у торговков первые южные фрукты. Валялась, читала, грызла любимые «каменные» груши. По прибытии на перроне тетки разных возрастов мигом обступали сошедших с поезда пассажиров. Ляля решительно пробилась сквозь плотную толпу и вышла на привокзальную площадь. На такси до санатория ехали восемь минут – по московским меркам, просто смешно. Здание санатория – колонны, гипсовые балясины, огромные холлы в красных ковровых дорожках – утопало в густой зелени пышного парка. Номер оказался роскошным – высоченные потолки с лепниной, массивная двуспальная кровать под шелковым покрывалом, телевизор, графин с водой, свой, автономный, душ и туалет. В ванной сиротливо висели два тонких вафельных полотенца. Ляля приняла душ, разобрала чемодан, надела легкий цветастый сарафан, шлепки, схватила полотенце и побежала на море. На улице было уже темно – ранняя южная звездная ночь. На берегу она скинула шлепки и осторожно пошла по мелкой, уже успевшей остыть гальке к морю. Море было теплое и шелковистое. По воде, мерцая, серебрилась тонкая лунная дорожка. Ляля замерла от восторга. Так выглядит счастье, подумалось ей. Наплававшись, она вернулась в номер и вытянулась на широкой кровати. Ее сон в эту ночь был легок и безмятежен. Вмиг отпустили все московские заботы – вечная нехватка денег, интриги сотрудниц, зудящие мысли о новом зимнем пальто (старое износилось до негодности), периодически дающий о себе знать гастрит, постоянно ноющая косточка на правой ступне, незалеченная дырка в зубе мудрости, увеличивающаяся не по дням, а по часам, страдания по поводу первых морщин в уголках глаз – тех самых гусиных лапок, которые Ляля называла гусиными.

А с утра началась бурная санаторная жизнь. Плотный завтрак – каша, котлета с пюре, сок, булочка, Господи, как можно все это съесть! «Ничего, справилась», – с удивлением подумала она. Потом визит к врачу – осмотр, жалобы, назначения. И понеслось – ванны, витаминные уколы, электросон, душ Шарко – до обеда ни секунды свободы. А как же море, пляж? Дали обед – тоже лукуллов пир, дневной сон, Боже, что будет с моей талией! А вечером, после ужина, кино, танцы, прогулки – в общем, обширная программа.

Ляля ярко накрасила губы, сильно подвела глаза, распустила свои роскошные волосы, подкрашенные хной, – благородная медь. В уши перламутр – чешская бижутерия, купленная у цыганок в переходе, шелковое платье в ярких цветах, каблуки – и осталась довольна собой. В 28 лет это еще возможно.

– Хороша! – подмигнула она самой себе в зеркало. И это была истинная правда – она вошла в тот самый благодатный женский возраст, когда еще есть здоровье и силы, яркие краски, упругость, манкость, свежие веки по утрам, когда природа еще отвечает тебе взаимностью, а главное, еще есть желания и надежды – все то, что привлекает и притягивает, когда еще блестят глаза и хочется попробовать на вкус эту жизнь, про которую к счастью, еще знаешь не все.

Вполне довольная собой, Ляля прошлась по территории санатория. В душный кинозал идти не хотелось, подошла к розарию – вдохнула упоительный вечерний запах чайных роз и пошла к танцплощадке – поглазеть – тоже развлечение. Старательно и слегка старомодно играл небольшой оркестрик и надрывно пела немолодая, полная, ярко накрашенная блондинка.

– Позволите? – Ляля вздрогнула и обернулась. Он был очень хорош собой, это сразу бросалось в глаза, – рост, разворот плеч, густая темная шевелюра, карие, почти черные, глаза. Ляля растерянно пожала плечами. Незнакомец уверенно взял ее за руку и вывел на середину танцпола. Он положил свою крупную руку на Лялину талию и умело повел ее в танце. Когда музыка смолкла, он наклонил голову и поцеловал Лялину руку.

– Вы прекрасны, – произнес он и внимательно и долго посмотрел ей в глаза.

Ляля смутилась, как девчонка. Новый знакомец предложил ей прогулку по городу. Сначала они шли молча, а потом он представился и рассказал о себе. Оказалось, что он моряк-подводник, уходит на полгода в плавание, живет в маленьком военном городке под Мурманском, был женат, но жена сбежала, не вынеся Севера и тягот военной жизни. Сбежала вместе с маленькой дочкой обратно в Питер к родителям, там снова выскочила замуж и видется с дочкой не дает. А он тоскует по дочке, да, в общем, не очень счастлив и очень одинок. Он замолчал и остановился прикурить, и Ляля увидела у него в глазах слезы.

– В общем, денег много, а счастья нет, – смущаясь, грустно рассмеялся он.

Потом на набережной они зашли в кафешку и выпили бутылку сухого шампанского, и в Лялин фужер он крошил горький плиточный шоколад. А потом на абсолютно темной окраинной улице под огромным платаном он долго и бесконечно нежно целовал Лялино лицо и волосы, и Ляля совсем потеряла свою бедную молодую голову. Такое случилось с ней первый раз в жизни. Когда она на мгновение приходила в себя и пыталась вырваться, он крепко брал ее за плечи и разворачивал к себе лицом. Потом он довел ее до корпуса, она закрылась в номере и долго стояла под холодным душем. А когда она вернулась в комнату, то услышала легкий стук в балконную дверь. Если бы не первый этаж, то Лялино падение, возможно, произошло бы не так быстро, не в первую ночь. Так по крайней мере ей хотелось думать. Несколько минут она простояла за тяжелой плюшевой шторой, а потом резко открыла балконную дверь.

Той безумной ночью они совсем не спали. И это было лучшее из того, что случилось в ее жизни. Утром он ушел, а она крепко уснула, и только к обеду ее разбудил стук в дверь – это медсестра забеспокоилась из-за ее неявки на процедуры. Ляля сказалась больной, и ее оставили в покое.

Их сумасшедший карнавал продолжался еще две недели – до самого отъезда ее пылкого любовника. Ляля поглощала раблезианские обеды и при этом невероятно худела. Кожа покрылась легким загаром, волосы чуть выгорели и порыжели, талия была узка, и ноги легки, как никогда. Она провожала его на перроне и плакала так горестно и громко, как будто провожала на войну мужа. Адрес свой она ему не оставила, а договорились о переписке на Главпочтамт до востребования.

Остаток отпуска – десять дней – Ляля провела в тоске и унынии – одиноко сидела в кинозале, умываясь слезами над старыми мелодрамами. В день отъезда ходила на базар и купила крепких зеленых груш и огромных розовых помидоров. В поезде под мерный стук

колес думала только об одном: о возможности их встреч – где? У кого? Или ей лететь к нему на Север? Брать дни за свой счет, а дома придумать командировку? Потом опять плакала, отвернувшись к стенке, и была счастлива и несчастна одновременно, и непонятно, где проходила эта самая грань.

В Москве было довольно прохладно и шел дождь – излет скупого московского лета. Муж стоял на перроне и держал Лялин дождевик. Увидев его, Ляля громко, в голос, разревелась. Муж обнимал ее одной рукой, а другой держал большой черный зонт. И приговаривал: – Ну-ну, успокойся, все же хорошо, ты уже дома, просто соскучилась.

Ляля плакала и кивала.

Дома ее ждали мамины пироги и букетик любимых белых хризантем у кровати. Первые дни Ляля металась по дому, что-то роняла, раздражалась на мужа, кричала на растерянных родителей, часто и громко плакала, и ей казалось тогда, что это не ее жизнь, что к этой жизни ее принуждают, а быть она должна не здесь, а в далеком военном городке, возле серого холодного моря. Мать с отцом обижались, ничего не понимая, а вот Лялин муж, умница, понял все сразу и ушел через два месяца, в тот же день, когда смущенная и бледная Ляля сказала ему о том, что она беременна. Они не объяснились, но и удерживать его она не посмела.

Когда все разрешилось и родители наконец все поняли, они гневно осудили Лялю, назвав ее безумной, и были абсолютно на стороне ее теперь уже бывшего мужа. Особенно неистовствовал отец, бросив Ляле в лицо короткое и емкое «шлюха». И не разговаривал с Лялей вплоть до самого рождения внучки. Мать Лялю, конечно, жалела, но ни о чем с ней не говорила. Просто заходила в комнату и ставила на тумбочку миску соленых черных сухариков – Лялю ужасно тошнило. В апреле Ляля родила девочку – очень крупную, темноглазую, с не по-детски крутыми и жесткими темными колечками волос. Дочку Ляля назвала Жанночкой.

Еще долго, лет пять-шесть, Ляля бегала на Кировскую, на почтамт, проверить корреспонденцию. Потом успокоилась и бегать перестала. В тридцать семь лет у нее начался вялотекущий роман с начальником – без особой радости и перспектив, но тянулся он долго, лет тринадцать. Ляля как-то резко погрузнела, расплылась, но все еще была женщиной яркой, как говорили, со следами былой красоты. На пенсию вышла точно в срок – уже стала прилично прибаливать. Жанночка росла умницей и красавицей – не дочка, а сплошное материнское счастье. Воистину где-то Бог дает, а где-то отнимает, думала Ляля. Потом один за другим ушли старики с перерывом в два года.

Жанночка окончила Ленинский пед, а в начале 2000 года появилась оказия, и она уехала в Америку к подруге по гостевой визе, но там каким-то образом «зацепилась», нашла работу няни в богатом доме и все мечтала о браке – но с этим пока как-то не очень складывалось. Звонила Ляле часто – раз в неделю, звонки ей стоили очень дешево. Ляля сильно тосковала по дочери, понимая, однако, что здесь ей делать нечего и что, конечно же, нужно устраивать свою жизнь там – раз уж так повернулось. Постепенно привыкла к одиночеству, учась понемножку получать даже удовольствие от своей абсолютной свободы, радуясь тому, что отгремели любовные бои, улеглись страсти и терзания и жизнь вполне вошла уже в свою спокойную и смиренную колею.

А спустя три месяца после этой странной и мистической встречи на кладбище позвонила Жанночка и, плача, сказала о том, что она хочет вернуться в Москву, что вся эта Америка ей до смерти надоела и что жизнь там тоже далеко не сахар.

Ляля сначала растерялась и расстроилась и только потом, когда Жанночка вернулась домой, она узнала о том, что все еще, слава Богу, хорошо закончилось и обошлось, а могло бы быть куда хуже и страшнее. Как-то ночью Жанночка ей призналась, что она украла у своих работодателей кольцо и серьги, оставленные беззаботной хозяйкой в спальне. Пропажу обнаружили сразу, сказав, что шум поднимать не будут, если Жанночка цацки вернет.

А так – полиция, обыск, депортация, вдобавок напомнили Жанночке о ее нелегальном положении и гостевой просроченной визе без права на работу. Уже и этого бы вполне хватило для разборок с полицией. Жанночка во всем созналась, и ее пожалели – хозяйский ребенок ее обожал – и поступили благородно, купив ей билет в Москву.

Ляля выслушала ее молча и даже спокойно. Она укрыла плачущую Жанночку одеялом и ушла к себе. Чему было удивляться? На ночь она выпила реланиум, в своих горьких мыслях стала тяжело засыпать, подумав о том, что кровь не вода, и еще про то, что разве мало она заплатила своим одиночеством за несколько дней сумасшедшего счастья. А может быть, еще обойдется? – горько вздохнула Ляля, не очень, впрочем, поверив себе.

Адуся

Адусины наряды обсуждали все и всегда. Реже – с завистью, часто – скептически, а в основном с неодобрением и усмешкой. Еще бы! Все эти пышные воланы, сборки, фалды и ярусы, бесконечные кружева и рюши, ленты и тесьма, буфы и вышивка. Панбархат, шелк, крепдешин и тафта – все струилось, переливалось и ложилось мягкой волной или ниспадало тяжелыми складками.

Совсем рано, в юности, придирчиво разглядывая в зеркале свои первые, мелкие, прыщики, недовольно трогая нос, подтягивая веки и поднимая брови, Адуся поняла сразу – нехороша. Этот диагноз она поставила себе, не обольщаясь, – уверенно, не сомневаясь и не давая, как водится, никаких поблажек себе. Сухая констатация факта. Была, правда, еще слабая надежда на то, что буйный и внезапный пубертат все же осторожно и милостиво отступит, но она годам к семнадцати прошла. К семнадцати годам, если тому суждено, девица определенно расцветает. Не вышло. Теперь оставалось либо смириться и жить с этим – навсегда, либо пытаться что-то изменить. Адуся выбрала второе.

Жили они вдвоем с матерью, безмерно обожаемой Адусей. Мать служила в театре оперетты, дарование было у нее скромное, но она была определенно красавицей и дамой светской, то есть посвятившей жизнь самой себе.

С Адусиным отцом, рядовым скрипачом театрального оркестра, она рассталась вскоре после Адусинового рождения, так до конца и не поняв, для чего был нужен этот скоротечный (вроде бы кому-то назло, что, видимо, так и было) брак с некрасивым, тощим и носатым нелюбимым мужчиной. И также зачем ей ребенок от этого брака – некрасивая болезненная девочка, точная копия своего отца. Ах, если бы девочка была похожа на нее! Такая же белолицая и гладкая, с той прелестной женственной полнотой, которая не режет, а радует глаз. С шелковистой кожей, пухлыми губами, с темными, густыми, загнутыми кверху ресницами! Ах, как бы любила она ее, наряжала бы, как куклу, демонстрировала своим знакомым с гордостью, обнимала бы ее и тискала без конца. А чем хвастаться здесь? Тощим, нескладным, неуклюжим подростком с унылым носом. Вся ее истинно женская плоть и прелесть отвергала дочь с тем негодованием, с которым признают неудавшийся опыт.

Поздним утром после долгого и крепкого сна она с раздражением и неудовольствием глядела на дочь, так старающуюся ей угодить! Крепкий кофе со сливками, гренки с малиновым джемом – не дай Бог пересушить, апельсин, конечно же, очищенный и разобранный на дольки. Адуся же матерью любовалась. Даже после сна, с припухшими веками и всклокоченной головой, она казалась дочери богиней и небожительницей.

После кофе мать откидывалась в кресле, вытягивая изящные ноги в парчовых, без задника, с меховым помпоном шлепках, закуривала и начинала вещать, с неудовольствием оглядывая дочь:

– Нос надо убрать. Сейчас это делают эле-мен-тар-но! – произносила она по складам. – Жри булки и манку. Господи, живые мощи. Ну кто на это может польститься? Гены – страшное дело, ну ничего от меня, ничего, – вздыхала она. – И как мне тебя пристроить? – сокрушалась мать.

Иногда, в короткий период затишья между своими многочисленными и бурными романами, она пыталась дочь преобразить. Вызывала своего парикмахера, подщипывала ей брови, красила ресницы, милостиво швыряла ей свои сумочки и туфли, заматывала вокруг Адусиной тощей шеи длинные нитки жемчужных бус. Но потом, не обнаружив должного результата, интерес к этому процессу быстро теряла.

К полудню приходила домработница Люба. Мать, вяло отдавая ей приказания, удобно устраивалась в спальне с телефоном. И начинала бесконечные перезвоны с целой армией

подружек и поклонниц. Обсуждались наряды, романы и сплетни без числа. Адуся же собиралась на работу. Работала она утро-вечер, через день. В соседней сберкассе, в окне приема коммунальных платежей. Еще тогда, будучи совсем юной девицей, она и решила поспорить с природой, скупко предложившей ей такой скудный и обидный материал. Критично разглядывая себя в зеркало – размытые брови, близко посаженные глаза, узкий рот, руки, похожие на птичьи лапки, плоскую грудь, тонкие ноги, – она все же пыталась найти и что-нибудь позитивное. И находила! Волосы были не густые, но вполне пышные, легкой волной. А талия! Где вы видели талию в 54 сантиметра! Правда, увы, на этом список удачного заканчивался, но Адуся вывела разумную формулу. Надо суметь себя преподнести. Не вставать в унылую очередь дурнушек, а выделиться из толпы. Обратить на себя внимание. Объяснить всем, что она особенная. Необычная. В конце концов, главное – суметь в этом всех убедить. И она принялась за дело. Тогда-то она и подружилась с Надькой-инвалидкой, названной так безжалостно Адусиной матерью за высохшую ногу в тяжелом и уродливом ботинке. Надька была молчуньей, с недобрым затравленным взглядом, вся сосредоточенная и заикливая на двух вещах – своей болезни и своей работе. Из дома она почти не выходила, стеснялась. Продукты ей приносила соседка, умело обманывающая Надьку, – цен та совсем не знала. А вот от клиенток не было отбоя. Шила она с утра до поздней ночи. Портнихой была от Бога – шила с одной примеркой, никогда не повторяя модели и не сталкивая лбами капризных клиенток. Кроме обычной и точной закройки, она безошибочно угадывала фасоны для той или иной клиентки, удачно скрывала недостатки и подчеркивала достоинства фигуры. Ей достаточно было одного быстрого взгляда, чтобы все оценить и не ошибиться. И брюки, и деловые костюмы получались у нее превосходно, но все же ее коньком были вечерние туалеты. Здесь она отрывалась по полной – вышивала узоры, обвязывала золоченой тесьмой, выдумывала затейливые аппликации, оторачивала мехом и перьями, крутила немислимой красоты цветы из обрезков бархата, тафты и меха. Деньги за заказы брала большие – но кто с ней спорил. С ее талантом, чутьем и безупречным вкусом считались безоговорочно. Она молча выслушивала нервных и капризных дам, кивая или не соглашаясь, крепко сжав в тонких бесцветных губах снопик булавок. Обшиваться у Надьки считалось привилегией и хорошим тоном. Со всеми она держала непреодолимую дистанцию, а вот с Адусей получилась почти дружба. Почему – вполне понятно. Адусю она сразу причислила к несчастным – некрасива, небогата, не чванлива, без капризов. И к тому же одинока. Это их и роднило. Адуся приезжала не просто по делу на примерку, торопясь и нервничая перед зеркалом. Без настойчивых просьб – Надя, милая, побыстрее, пожалуйста. Меня ждут внизу в машине (водитель, муж, любовник).

Приезжала Адуся к Надьке в гости, именно в гости. Приезжала с утра в субботу и на целый день – с хрустящими вощеными пакетиками с кофе из чайуправления, только что молотым, и с коробкой разноцветных пирожных из «Праги» – лучшей кондитерской тех лет. Обе были заядлые кофеманки и сластены. Надька варила кофе – целый кофейник на весь день, освобождала половину огромного стола, заваленного бесконечными выкройками, булавками, мелками, обмылками и обрезками. И начинали свой сладкий пир две одинокие души. Только ей, Адусе, своей единственной и закадычной подруге, Надька доверила свою страшную тайну, ни одной душе неведомую. Тайну о том, как однажды остался у нее на ночь мужчина, водитель одной из клиенток, захвативший вечером за готовым заказом. Остался на ночь. А утром, увидев у кровати безобразный черный, кособокий Надькин башмак, бросился в ванную, где его вырвало прямо в раковину. Так Надька распрощалась со своей девственностью и иллюзиями в одночасье.

Адуся сочувствовала бедной Надьке и обе плакали, обнявшись. Еще она слегка жаловалась подруге на свою резкую, бесчувственную, но все же такую обожаемую мать и вторым пунктом, конечно же, на тотальное отсутствие женихов. В перерывах между кофе и

перекурами Надька ползала по полу – кроила она на полу. Потом Надька раскрывала журнал и предлагала Адусе самые свежие модели, измененные и усложненные Надькиной буйной фантазией и талантом. Адуся все принимала с восторгом и восхищением. И начиналось священнодействие. Красились в крепком растворе чая кружева, приобретающие цвет теплого молока или подбеленного кофе, разрезалась широкая, с золотой ниткой, тесьма – поуже на рукав, пошире на оборку, клеились фиксированные, твердые банты из атласа и капрона, завязывались на свободный крупный узел мягкие шелковые галстуки, обтягивались большие старые пуговицы парчой. Оторачивался обрезками голубой норки весенний светло-серый суконный жакет. Кроили легкие, полупрозрачные блузки с обильным жабо, высоко вздергивали фонари рукавов и безжалостно зауживали длинные манжеты, разрывали нити старых бутафорских жемчужных бус и пускали горошинами по воротнику и передней планке платья. Адуся мужественно мерзла у огромного мутноватого старого зеркала в коридоре, ежась в колючей немецкой кружевной комбинации. А Надька ползала вокруг нее, закалывала, подкалывала, чиркала мелом, бряцала огромными ножницами. Надька отползала от Адуси на пару шагов и, прищурясь, довольная, оценивала свою работу. И тощие, с пупырчатой кожей, посиневшие от холода Адусины ноги с крупной грубой щиколоткой, тонкой икрой и мосластыми коленями казались Надьке абсолютным воплощением красоты. Потому что это были две здоровые ноги. В изящных туфельках на каблуках. Две полноценные и крепкие ноги. А значит, есть шанс на успех и победу. Надька горестно вздыхала и еще крепче сжимала свои узкие и почти бескровные губы. Сейчас, вот сейчас. Адуся наденет свою пышную юбку, кокетливо закрутит шелковый шарфик на блузке, обует ноги в замшевые ботильоны на высоком и неустойчивом каблуке, подкрасит ярко губы, встряхнет легкими рыжеватыми волосами – и выскочит на освещенную улицу. Выскочит в жизнь. В ее быстрый поток, бурлящий водоворот. И застучит каблучками по мостовой. И все в ее жизни еще будет, будет наверняка. А в ее, Надькиной, жизни? В который раз Надька придиричиво и настороженно смотрела на себя в зеркало – огромные, с черным ободком вокруг серой радужки, глаза, короткий прямой нос, темные густые волосы, жесткие, как щетка, бледное, почти белое, лицо – конечно, совсем без воздуха, – и тонкий, искривленный в печальной гримасе рот. Неухоженность, полное безразличие к своей женской природе – это природе в отместку за то, что так жестоко она с ней, Надькой, обошлась. Надька тяжело вздыхала и садилась за свою нескончаемую работу. В этом и было ее истинное утешение.

Адуся легко выпархивала из захламленной душной Надькиной квартиры и с жадностью вдыхала московский воздух. Она тихо открывала дверь ключом – не дай Бог нашу-меть! – вдруг мать задремала – и слышала один и тот же, словно недовольный материн вопрос:

– Это ты? – Как будто это опять ее очень огорчило и разочаровало.

– Я, мамуся, – громко отвечала она.

– Господи! – почему-то тяжело вздыхала мать.

Однажды мать ушла в спальню, взяв с собой телефон. По квартире черной змейкой струился перекрученный телефонный шнур. Мать плотно закрыла дверь в спальню. Адуся осторожно подошла к двери и услышала раздраженный и возмущенный голос матери.

– Глупость, бред, – кипятилась та. – Это в мои-то сорок. Это он не знает сколько мне, а я-то знаю. И потом, один опыт у меня уже есть! Не самый удачный. Да, мужик стоящий, богатый, но зачем мне трое его детей – мал мала. Что я с ними буду делать? Эти эксперименты не для меня. И этот вечный кавказский траур по его умершей жене. Наверняка в Москве он жить не станет. Мне уехать в Баку? Ну и что, что роскошный дом, ну и что, что тепло? А если он на ребенка не клюнет? Я понимаю, что вряд ли. Да, у них это не принято. Дети – святое. А если нет? Если просто не сложится и я там не смогу? И с чем я останусь? Одино-

кая стареющая второразрядная певичка почти без ролей? С двумя детьми? Да-да, Адуся уже взрослый человек. Но ведь и я не сумасшедшая.

Адуся замерла под дверью. Господи, мать попалась! Ничего себе история! Адуся лихорадочно перебирала возможных претендентов на отцовство. Ах да, был какой-то поклонник – бакинский армянин, моложе матери на добрый десяток лет, вдовец, человек щедрый и скорее всего не бедный. Адуся живо вспомнила корзины ярких фруктов, огромные, словно снопы, перевязанные лентой тугие букеты роз на плотных зеленых стеблях. Значит, речь идет о нем! Что же будет? А вдруг мать все же решится и ребенка оставит? Тут ей стало и вовсе нехорошо, тошнота подкатила к горлу, и по спине потек холодный и липкий пот. Она прислонилась к стене и прикрыла глаза. Боже, какая угроза! Ведь может измениться вся ее жизнь – какой-то непонятный молодой мужик, трое его детей, еще один ребенок, новорожденный, их общий с матерью. А она? Ее роль во всей этой истории? Нянька, вытирающая соплю всей этой ораве? От представляемого кошмара у Адуси закружилась голова, и она присела на корточки.

Но ничего этого не случилось, а случилось совсем другое – страшное и неисправимое. Ее сорокалетняя красавица мать умерла спустя месяц от кровотечения – осложнение после аборта, сделанного на приличном сроке. Похороны были пышные и многолюдные. Все как любила покойница. Скорбели потрясенные случившимся бывшие любовники и действующие подруги. Последнего возлюбленного, косвенно имеющего отношение к этой драме, на похоронах не было. Разыскивать его, вызывать из другого города у Адуси не было ни сил, ни времени. Да и к чему все это? При чем тут он?

Мать лежала в гробу бледная, прекрасная и успокоенная. Оттремели все страсти ее недолгой жизни, разом решили все проблемы. Как все просто. И как все страшно.

Адуся осталась одна в большой «сталинской» трехкомнатной квартире с эркером. По матери она тосковала безгранично. Теперь, обливаясь слезами, она перебирала ее колечки и браслеты, подносила к лицу ее платья, еще пахнувшие ее духами, спала в ее постели, зарываясь лицом в ее подушки. И все никак не решалась сменить и выстирать белье, хранившее, как казалось Адусе, материнский запах. Она страдала, совершенно забыв и презрев материнскую холодность и отрешенность, тоскуя по ней безудержно. Вечерами, заливаясь слезами, она перебирала драгоценности матери, целовала их, гладила и аккуратно складывала их обратно в мягкие бархатные и фланелевые мешочки, потом куталась в шубы – норковую и каракулевую, которые были ей, конечно же, велики и которые она все никак не решалась отнести к Надьке и переделать по фигуре. О том, чтобы что-то продать из украшений или старинных вещиц, так любимых матерью, понимавшей в этом толк, не могло быть и речи. Жить теперь приходилось на свою более чем скромную зарплату. Раньше, при матери, о деньгах думать особенно не приходилось. Сейчас же считалась каждая копейка, каждый рубль – это было непривычно. И Адуся терялась и расстраивалась, бесконечно считая жалкий остаток. Домработницу Любу она, конечно же, рассчитала. На что ей домработница? Так и жила – одиноко и неприкаянно. Из подруг – одна верная Надька, тоже одинокая душа.

Впрочем, была у Адуси и любовь. Правда, любовь тайная и неразделенная, так как предмет ее страсти об этом и знать не знал. Это был сын старинной подруги матери, некоей Нору, бывшей балерины, в далеком прошлом известной московской красавицы и вдовой генеральши. Предмет звался Никитой и вполне бы мог сойти за былинного русского богатыря – косая сажень в плечах, пшеничные кудри, синие глаза. Любила Адуся Никиту давно, с детства, пожизненно и безнадежно. Ибо Никита был бог, царь и абсолютный фетиш. И ему, как богу и царю, было дозволено все и все заранее прощалось. А был он заурядный и обычный пошловатый бабник и ходок. Но она так даже и думать о нем не смела, ни Боже мой. В ее сердце имелась своя ячейка, свой сейф, где были припрятаны все тайны ее души и сокровенные мысли, грустные, надо сказать, мысли. Что никогда, никогда... Кто она и кто

он? Да разве можно себе это представить? Любовь к Никите – отдельная песня, отдельная строка. Ах, пустые девичьи грезы! А в повседневной жизни был вполне прозаический снабженец Володя, остряк и балагур, то исчезающий, то вдруг внезапно возникающий как черт из табакерки, живущий где-то на Урале. Появлялся он редко и на пару дней – случайные нечастые командировки. И поддерживал эту связь скорее всего только по причине собственного удобства. Был еще тихий и слегка пришибленный аспирант Миша, живший с полубезумной старухой матерью и посему поставивший жирный крест на устройстве своей личной жизни. Приходил он к Адусе где-то в две недели раз, зажав в вялой руке три банальные помятые и пожухлые гвоздики. Долго пил на кухне чай и, не поднимая глаз, нудно прощался, топчась в прихожей. Все это было тускло, мелко и обременительно. Не приносило радости и не сулило жизненных перемен. А ведь еще хотелось игры, интриги, страсти, наконец. Мамины гены, пугалась Адуся.

Никиту она считала неприкаянным и, конечно же, несчастливым вечным странником. Что эта глупая череда круглоглазых красоток? Конечно же, только она, Адуся, сумеет разглядеть его мятущуюся душу, только она, умная, тонкая и остро чувствующая, сумеет дать ему истинное счастье и радость.

Мечтая ночами, она видела себя идущей с ним под руку, хрупкую и нежную, с ним, таким большим и сильным. И конечно же, читающую ему стихи:

– «Сжала руки под темной вуалью...»

Или вот лучше так:

– «Как живется вам с другою женщиною, без затей?»

Она-то, Адуся, была, конечно с затеями, не то что те – другие.

К Норе она заезжала часто, естественно, в надежде увидеть Никиту. Нора уже сильно хворала – особенно подводили ноги, когда-то сводившие с ума пол-Москвы. Профессиональная болезнь бывшей балерины – суставы. Ходила она теперь по квартире с палкой, из дома почти не выходила, сильно располнела и запустила себя, обнаружив к старости одну пламенную страсть – много и вкусно есть. Компенсация за вечные диеты и голодовки в молодости. Обычно Адуся заезжала в «Прагу» и набирала любимые Норой деликатесы: холодную утку по-пражски, заливной язык, ветчинные рулетки и знаменитые «пражские» пирожные. Денег тратила уйму. Но Нора – единственный мостик между Никитой и Адусиными грезами. Одинокая и всеми покинутая бывшая светская львица Нора, полная, кое-как причесанная, тяжело опирающаяся на палку, была ей всегда рада. Садилась на кухне – Адуся по-свойски хозяйничала: варила кофе, раскладывала на тарелки принесенные вкусности. Нора, как всегда, много курила и поносила Никитиных баб. Это был ее излюбленный конек. Адуся узнавала все до мельчайших подробностей, совершенно ей, казалось бы, не нужных. Но это было не так. Из всего сказанного и рассказанного она делала свои выводы. Скажем, она узнала про парикмахершу Милку, здоровую дылду и дуру, про полковничью неверную жену Марину, уродину и старую блядь (с Нориных слов, естественно), про медсестричку Леночку, в общем, славную, но простую, слишком простую и примитивную. И далее – по списку. Адуся в который раз варила крепкий кофе, металась от плиты к столу, поддакивала, осторожно задавала вопросы и мотала на ус. Ничего не пропускала. Ах, как нелегка была дорога, как терниста и извилиста узкая тропка к просторной и любвеобильной Никитиной душе.

Нора жирно мазала дорогуций паштет на свежую сдобную булку, вилок безжалостно крушила хрупкую снежную красоту высокого безе, шумно прихлебывала кофе и трясущимися желтоватыми пальцами с еще крепкими круглыми ногтями в ярком маникюре давила окурки в гарднеровском блюде.

Не часто, загораживая широким разворотом богатырских плеч дверной проем, возникал случайно забредший в отчий дом вечный странник Никита. Адуся заливалась краской и

опускала глаза. Никита оглядывал лукуллов пир, усмехался, неодобрительно качал головой и непременно каламбурил что-то в сторону Адуси, типа:

– Ада, какие наряды. Последняя коллекция мадам Шанель? Парижу-то что-то оставили?

И цеплялся с матерью – непременно. Он присаживался за стол и укорял смущенную Адусю:

– Губите матушку, Адочка. Уже и печеночка не та, и желчный шалит. И вы все, маман, туда же. Какая, право, несдержанность.

В общем, паясничал. Нора – крепкий еще боец – в долгу не оставалась.

– Что, шелудивый кот, нашлялся, еще не все волосы на чужих подушках оставил? – отвечала Нора, а в глазах гордость и что-то вроде умиления – моя кровь!

– Маман все не может успокоиться, что придворный абортарий был закрыт тогда на профилактику, – острил Никита. – Вот так, Адочка, волею судеб я совершенно случайно появился на свет. Увы! – тяжело вздыхал он и разводил руками.

Адуся опять краснела, как бурак, и поддакивала то Никите, то Норе. Так коротали время. Потом, когда моноспектакль был завершен и Никите их общество порядком надоело, он вставал и уходил к себе. Адуся интересовала его исключительно как зритель. Больше – ни-ни. Все ее ухищрения и старания были напрасны. Адуся домывала посуду, подметала захламленную кухню и старалась поскорее избавиться от занудной Норы.

Дома ночью после визита она обычно не спала – перебирала в голове Никитины фразы, высказывания и с горечью признавалась себе, что все ее старания бесплодны и напрасны. Ни-че-го! А какие усилия! Самая модная в сезоне стрижка, французские косметика и духи, черное бархатное платье с фиолетовой шелковой розой, итальянский сапожок – черный, лаковый, с кнопочкой на боку – о цене лучше не думать. Пирамида картонных коробок из «Праги», дорожные и дефицитные желтые розы в хрустящем целлофане. Сама Адуся, изящная, трепетная, элегантная. Если верить Норе, таких изысканных и тонких женщин у него вообще никогда не было, горестно вздыхала Адуся, ворочаясь на жестких подушках. Отплакавшись, Адуся успокаивалась: «Не все еще потеряно, не все. Не отступлюсь ни за что», – и засыпала под утро счастливым сном. Ах, надежда, вечный спутник отчаяния! И конечно, его величество случай, как часто бывает.

После очередного гастрономического безумства (на сей раз это был жирный окорок) Нора загремела в больницу – приступ панкреатита. Сопровождали ее Никита и срочно вызванная по телефону Адуся. В приемном покое Нора громко рыдала, и прощалась, и просила Адусю позаботиться о бедном и одиноком Никите, моментально позабыв все претензии к сыну. Адуся мелко кивала головой, гладила Нору по руке и обещала ей не оставлять Никиту ни при каких обстоятельствах. Нора потребовала клятвы. Конечно, она слегка переигрывала и вовсе не собиралась помирать, но роль свою, роль трепетной матери, как ей казалось, она играла вполне убедительно. Обещание, данное Норе на почти смертном одре, Адуся решила исполнять сразу, заявив сонному и растерянному Никите, что недолгий остаток ночи она проведет у него. Во-первых, как ей одной сейчас добираться до дому? Во-вторых, завтра нужно убраться в разгромленной после «скорой» квартире. В-третьих, приготовить Норе что-нибудь диетическое и, кстати, ему, Никите, обед. Мотивации вполне логичны. Он равнодушно кивнул.

Утром следующего дня она взяла на работе отгулы и осторожненько так перевезла в Норину квартиру часть своих вещей, не забыв ни духи, ни кремы, аккуратно расставив их на стеклянной полочке в ванной. Рядом с Никитиным одеколоном и принадлежностями для бритья. Обозначив таким образом свое законное присутствие. И принялась за дела. Сначала вымыла мутные окна и постирала занавески, потом выкинула все лишнее, чего было в избытке, – подгнившие овощи, старые картонные коробки, чайник с отбитым носиком,

пустые коробки из-под шоколадных конфет, подсохшие цветы. Далее вымыла со стиральным порошком ковры – жесткой щеткой. Выкинула из холодильника куски засохшего сыра и колбасы. Начистила кастрюли, отмыла содой потемневшие чашки. Протерла мясистые, плотные и серые от пыли листья фикуса. Мелом натерла до блеска темные серебряные вилки и ножи. Сварила бульон, мелко покрошив туда морковь (для цвета) и петрушку (для запаха). Протерла через сито клюкву – морс для бедной Норы. Сбегала в аптеку и за хлебом (из хлебницы брезгливо выкинула заплесневевшие горбушки). По дороге купила семь желтых тюльпанов – воткнула их в низкую и пузатую вазу, поставила на кухонный стол. Оглядела все вокруг. Квартиру ну просто не узнать. Всем осталась очень даже довольна. И поспешила к Норе в больницу. Напоила ее морсом с сухими галетами, умыла ее, причесала, долго и подробно беседовала с лечащим врачом и строго разговаривала с бестолковой нянечкой, дав ей денег и приказав подавать Норе судно и поменять постель. Еле живая притащилась вечером по месту своего нового, временного (хотя кто знает) жилища. Еле ногами перебирала, но, увидев в прихожей красную Никитину куртку, спину распрямила, плечи завела назад и надела на лицо самую лучезарную из улыбок. Никита помог ей снять пальто и участливо спросил:

– Устала?

Адуся махнула рукой, ничего, мол, ерунда, чего не сделаешь ради близких и дорогих людей? Он подал ей старые, разношенные Норины тапки, но она достала свои – каблучок, открытая пятка, легкий розовый, пушок по краю. И накинула халатик – тоже в тон, розовый, с блестящим шелковым пояском. Крепко затянула этот самый поясок – талия! Двумя пальцами обхватишь. Если пожелаешь. И слегка устало опустилась в кресло.

– Чаю? – вежливо осведомился хозяин.

Адуся кивнула. Чай она пила медленно, изящно, как ей казалось, чуть отставив в сторону мизинец, и рассказывала подробно про больницу и врачей. Никита слушал и уважительно кивал головой:

– Ну, ты, Адуся, даешь! И что бы мы без тебя делали, пропали бы не за медный грош. В первый раз без своих шуток и каламбуров. А потом серьезно так сказал:

– Спасибо тебе, Адка, за все. И за мать, и за квартиру – так чисто у нас никогда не было. Может, поживешь у нас, пока мать в больнице? – с надеждой спросил он.

Адуся вздохнула – и согласилась. С достоинством так. О мужчины! Кто же из нас завоеватель! Или так изменился мир? Как может быть изобретательна и коварна в своих замыслах даже далеко не самая искусенная женщина. Сколько физических и душевных сил нужно потратить ей, маленькой и слабой женщине, чтобы вы хотя бы обратили свой взор на нее! И как вы, ей-богу, наивны и туповаты, прямо скажем. Но мы не злодейки и ставим силки не по злему умыслу и не для оного. Кто же может осудить человека за вполне естественное желание быть любимой и счастливой?

Адуся легла в Нориной комнате, и ей, конечно же, не спалось. Так близко, за стеной, спал главный человек ее жизни. Спал, похрапывая, ни о чем не печалась. Адуся смотрела на потолок, и он казался ей звездным небом. А среди ночи ужасно захотелось есть! Она вспомнила, что в хлопотах за целый день не съела ни куска. Осторожно, крадучись, не включая света, пробралась на кухню и открыла холодильник. Так и застал ее, жующую холодную куриную ножку, Никита, поднявшийся среди ночи по малой нужде. От ужаса Адуся поперхнулась. А Никита испугался и хлопнул ее по спине. Все насмарку! Так оконфузиться! На глазах выступили слезы. Но Никита и не думал насмехаться.

– Проголодалась, бедная? – участливо спросил он и налил ей чая. – Сядь, поешь по-человечески, – предложил он обалдевшей Адусе. А потом сказал тихо: – Иди ко мне.

«Господи! От меня же пахнет курицей», – с ужасом подумала неудачливая соблазнительница. Но Никите это все было, похоже, по барабану. Он властно притянул Адусю к себе.

А потом легонько шлепнул по почти отсутствующей «филейной» части Адусинога худого тела и подтолкнул ее в свою комнату. И Адуся познала рай на земле. Или побывала на небесах. Впрочем, какая разница, если человек счастлив.

Бедная Надька-инвалидка выла от тоски и одиночества. Даже верная подруга Адуся пропала и не объявлялась. Изо дня в день Надька видела перед собой прекрасных и благополучных женщин. Вместе с ними залетали в Надькину унылую квартиру запах ранней весны, небывалых духов, легкость, и беспечность, и бесшабашные и сногшибательные истории. Клиентки крутились перед зеркалом в прихожей, кокетливо шурили глаза и придирчиво и довольно осматривали свое отражение. Она видела их упругие бедра и грудь, стройные ноги, тонкое кружевное белье и вдыхала их аромат – аромат полной жизни и свободы. Они звонили по телефону и капризничали, повелевающими голосами разговаривали с мужьями и нежным полупшепотом ворковали с любовниками.

Вечером, оставшись одна, впрочем, как всегда, Надька залпом выпила стакан водки и подошла к зеркалу в прихожей. Она долго и подробно рассматривала свое отражение. Стянула черную «аптекарскую» резинку с «хвоста», встряхнула головой, по плечам рассыпались густые, непослушные пряди. Она взяла черный, плохо заточенный карандаш и толстой, неровной линией подвела глаза – к вискам. Потом яркой красной помадой, забытой какой-то рассеянной клиенткой, она яростно и жирно черкала по губам, и что-то ведьминское, злое и прекрасное появилось в ее лице.

Потом она скинула халат и пальцем провела по своему телу – по маленькой и твердой груди с острыми и темными сосками, по впалому и бледному животу, по чуть заметной темной дорожке от пупка вниз, к паху. И вдруг ей показалось, что она прекрасна и ничуть не хуже их, тех, кому она так завидует и кем тайно любит. Но потом взгляд ее упал на тонкую, сухую, изуродованную болезнью и грубым высоким черным башмаком ногу, и она зашептала горестно и безнадежно: «Но почему, почему?» – в который раз. Ее начала бить крупная дрожь, и она накинула чье-то недошитое манто из серебристой чернобурки, допила водку и уснула на кухне, уронив бедную голову на стол, – злая, несчастная и обессиленная.

А Адуся с утра жарила омлет. Не просто банальный омлет – яйцо, молоко, соль, все взбить вилкой. Это был омлет – произведение, завтрак для любимого. Адуся томила до мягкости ломтики помидоров, взбивала до белой пены яйца, щедро крошила зелень и терла острый сыр. Далее она варила кофе, жарила тосты, накрывала красиво – клетчатая льняная салфетка, приборы, букет тюльпанов на столе. Все это она делала, пританцовывая на легких ногах и что-то негромко напевая, – слух у нее был неважный. Жизнь прекрасна! Чего ж еще желать! Никита сел завтракать, удивляясь и слегка пугаясь такому натиску, – в кофе Адуся положила сахар и размешала его ложкой, а сливки взбила венчиком и аккуратно влила в чашку с кофе. «Так вкуснее», – пояснила она.

Никита молча жевал и кивал. Сама Адуся есть не стала, а только аккуратно прихлебывала кофе, присев на краешек стула, и что-то щебетала. Он посмотрел на нее – легкие кудряшки, тонкие ноги, длинный острый носик, узкие, словно птичьи лапки, руки. Пестрый халатик – птичка, ей-богу, ну просто птичка Божья. А старается как! «Смешно и нелепо», – подумал он, и что-то вроде жалости на мгновение мелькнуло у него в душе. Он глубоко вздохнул и поблагодарил ее за завтрак. А Адуся продолжала хлопотать – обед, уборка, собрать что-то в больницу Норе, днем – сама больница. А вот вечером – вечером их с Никитой время. Ужин при свечах! Все получается так легко и складно!

Нора в больнице капризничала, просила есть и рвалась домой – отпустило. Но скорая Норина выписка в планы Адуси никак не входила. Для начала нужно укрепить тылы и прочно занять оборону. Вечером накрыла в гостиной – свечи, салфетки в кольцах. Никита глянул и коротко бросил:

– К чему это?

Молча поел на кухне и ушел к себе, плотно прикрыв дверь. Адушя в ванной умывалась слезами – сама виновата, надо было мягче, осторожнее. Ночь промаялась, не спала ни минуты, утром, сомневаясь и дрожа, все же зашла осторожно, чуть скрипнув дверью, в его комнату. И легла, умирая от страха на край его постели. Никита вздохнул во сне, заворочался, повел носом, как собака, почуявшая дичь – и, конечно же, ни от чего не отказался. Он взял ее грубовато, коротко, не открывая глаз, и опять крепко уснул, а Адушя лежала рядом, тихо всхлипывая, и никак не могла решить, страдать ли ей дальше или все-таки радоваться. Утром Никита был весел, шумно брился в ванной, громко фыркал, шумно сморкался, а на пороге щелкнул легонько и необидно Адушю по носу – не придумывай себе ничего, угу? И был таков. Ах, ах, опять слезы, красные глаза, распухший нос, настроения никакого. Плюнуть, собрать вещи, уйти? Ну нет, мы еще поборемся – твердо решила Адушя. Это с виду я такая – переломишь, а внутри – стальная пластина. «Эх, медведь бестолковый, – с нежностью думала Адушя, – не видишь своего счастья. Всю жизнь тебе готова служить верой и правдой. И служить, и прислуживать – ничего не зазорно. Только бы быть рядом с тобой!» А вечером у Никиты было вполне сносное настроение – он шутил, беззлобно подтрунивал над Адусей, и уснули они вместе. Не все потеряно! Жизнь опять решила улыбнуться!

Нору забирали через две недели, и она опять ныла, ругалась с сыном и цыкала на бедную и верную Адушю. Дома, внимательно оглядев чистую и помолодевшую квартиру и оценив диетический, но вполне сносный ужин – куриное суфле, творожный пудинг, запеченные яблоки с корицей, – она попросила Адушю пожить у них еще несколько дней по причине ее, Нориной, слабости и нездоровья, естественно. Адушя согласилась. Спала она теперь на узком диване в столовой, а ночью крадучись пробиралась в комнату Никиты. Он принимал ее с легким вздохом – как бы в благодарность за оказанные услуги. Но разве она хотела это замечать? Нора быстро поняла про все удобства, связанные с проживанием Адуси, и моментально раскусила их так называемый роман, втайне надеясь, что вдруг наконец ее беспутный сын образумится и дай Бог... Своим практическим умом она, конечно, понимала, что лучшей жены ему не найти, а уж ей невестки и подавно. Адушя осталась еще на неделю, потом еще и постепенно и осторожно так перевозила свои вещи к ним в дом, конечно же, тайно, и страстно желая задержаться там навсегда.

И правда, стало вырисовываться со временем какое-то подобие семейной жизни – с общими ужинами, походами на рынок (ах, я не подниму тяжелых сумок!), в кино, вечерним поздним чаем на кухне, совместным просмотром какого-нибудь фильма по телевизору, когда Адушя, уютно позвякивая спицами, вязала Никите свитер из плотной белой шерсти со сложным модным северным орнаментом на груди – красными оленями с ветвистыми рогами. Никита почти не взбрыкивал, лишь иногда вечерами исчезал ненадолго, а однажды и вовсе не пришел ночевать. Но Адушя – ни слова. Так же подавала завтрак и размешала сахар в чашке. Никита усмехался – вся ее игра шита белыми нитками, все наивно и смешно, паутину плетет соблазнительница коварная. Ей, Адусе, к тридцати, замуж хочет, понятное дело. Шансов немного, хоть и славная, в общем, девка. Смешная, нелепая, но старается изо всех сил. Но его, Никиту, так просто не окрутишь, не обовьешь. Да и к чему все это? Быт волновал его мало, жил же и не тужил и без ее забот, детей он не хотел – какие, право, дети? А жениться? Жениться надо по любви. Какой у него расчет? Смешно, ей-богу, на нее и на маман смотреть. Порешали все негласно, умницы какие! Да и сколько еще красивых и молодых баб, никак не охваченных Никитой? Добровольно от всего этого отказаться? Ради чего? Ради совместных посиделок вечером в кресле у телевизора? Чушь какая! Да и все эти завтраки, ужины, крахмальные рубашки, туфли, начищенные до блеска, да и сама Адушя, в конце концов. Хотя, что лукавить, втянулся как-то, поддался, что ли. В общем, не очень пока возражал. Правда, сходили даже пару раз в театр, съездили к институтскому другу Никиты на день рождения,

где все удивились новой барышне известного бонвивана – смешной и странноватой, закрученной в пышные юбки и кружева.

Насмешники нашли ее нелепой, а доброжелатели – вполне трогательной. К Надьке она тоже Никиту затащила – с уловками и хитростью. Хотелось продемонстрировать свою удачу и состоятельность. Надька страшно почему-то смутилась, была, как всегда, неразговорчива, то бледнела, то вспыхивала своими неповторимыми серыми очами. Никита курил на кухне.

– Сегодня сделаешь? – с надеждой спросила Адуся. Работа для Надьки была – пустяк, так, подол подрубить и заузить лиф, но она свредничала – бабская сущность – и торопиться отказалась.

А Адуся с Никитой вечером собирались в Большой на «Дон-Кихота». Адуся жалобно канючила, а Надька говорила свое твердое «нет». Завтра к вечеру. Точка. Ушла от Надьки надутая, а потом осенило – завидует. Как все банально! И усмехнулась: ну что ж, милочка, поделаешь. Каждому свое. Уж извини, что так вышло. На балете Никита уснул, но это ее только умилило – устал, бедненький.

Потом она стала прихварывать, не понимая, в чем дело. Забеспокоилась – ее организм, работавший так четко до этого, дал какой-то явный сбой. Болела грудь, потемнели бледные Адусины соски, мутило, совсем не хотелось есть, а хотелось только свежего огурца с солью и томатного сока. И еще все время тянуло в сон. Так бы и спала целый день. В общем, взяла отгулы и валялась на диване. Попросила Никиту съездить к Надьке и забрать платье. Умная Нора просекла все до того, как поняла Адуся. И просила Бога образумить наконец ее непутевого сына. А еще через неделю исчез и сам фигурант, звонком, впрочем, успокоив мать – жив-здоров, просто уезжает, и, видимо, надолго. И еще очень просит мать – ну, ты же у меня умница! – льстец – придумать что-нибудь для Адуси. «Ну, что-нибудь, сама знаешь. Она ведь так явно задержалась», – хохотнул он на прощание.

Вечером того же дня Нора кричала на несчастную Адусю, называя ее дурой и бестолочью за то, что та не успела сказать Никите про ребенка, все думала, как эту новость торжественно обставить. А теперь ищи его днем с огнем! Где он сейчас, на чьих подушках? Похоже, закрутило его сильно, уж она-то своего сына знает, не сомневайся.

Адуся собрала вещи и уехала к себе. Тяжелее всего было пережить то, что она посчитала за явное оскорбление – исчез, не поговорив, не сказав ни слова объяснения, не по-человечески, по-скотски с ней обошелся. За что? Это и было самым горьким. Страдала она безудержно и отчаянно. Бессердечная Нора звонила ежедневно и уговаривала Адусю сделать аборт: «Одна ты ребенка не поднимешь».

Себя она в этом процессе, естественно, не видела. Ребенка Адуся решила оставить. Как можно распорядиться чужой жизнью? Да и потом, материнская страшная судьба! Чувствовала себя она отвратительно, но душевная боль была куда сильнее, чем физическое недомогание. С работы она уволилась – видеть и говорить ни с кем не было сил. Относила в комиссионку на Октябрьской то серебряный молочник, то столовое серебро, то японскую вазу. Из дома почти не выходила, телевизор не включала, лежала часами на кровати без сна, но с закрытыми глазами. Открывать глаза и видеть этот мир ей не хотелось. К телефону подходить перестала, а потом и вовсе выдернула шнур из розетки.

Однажды, когда одиночество стало совсем невыносимым, просто выла в голос от тоски, поехала к Надьке, старой подруге. Вот кто поймет и пожалеет – тоже одинокая и неприкаянная душа. Вот наплачемся вволю. Надька не скоро открыла дверь, и Адуся оторопела и не сразу поняла, в чем дело. На Надькином лице блуждала странная, загадочная улыбка, да и вообще она была и вовсе не похожа на себя прежнюю – с распущенными по плечам богатыми волосами, с яркими, горящими глазами, в новом красивом платье и с накрашенными губами. «Чудеса, ей-богу», – удивилась Адуся.

Надька стояла в дверном проеме и не думала пропускать Адусю в квартиру.

– Не пустишь? – смущенно удивилась Адуся.

Надька стояла не шелохнувшись и молча смотрела на нее. А потом отрицательно покачала головой.

– Что с тобой, Надька? Занята так, что ли? – догадалась наконец Адуся и бросила взгляд на вешалку в прихожей.

На вешалке висели мужская красная куртка и белый вязаный свитер с северными оленями. У Адуси перехватило дыхание. Они стояли и молча смотрели друг на друга еще минут пять. Вечность.

В голове у Адуси не было ни одной мысли. Только опять сильно замутило и закружилась голова. Она выскочила на лестницу и там, у лифта, ее сильно вырвало. Надька громко захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной.

– Каждый за себя, – тихо сказала она и еще раз это повторила: – По-другому не будет. Каждый за себя.

Адуся сидела на холодных ступеньках, и у нее не было сил выйти на улицу – отказывали и без того слабые ноги. Сколько прошло времени – час, три, пять? На улице было совсем темно. Она подняла руку и поймала такси. Ночью, в три часа, она проснулась от того, что было очень горячо и мокро лежать. Догадалась вызвать «скорую». Из подъезда ее выносили на носилках.

В больнице она провалялась почти месяц. Вышла оттуда высохшая, словно обескровленная. Неживая. Ей казалось, что вместе с ребенком из нее вытащили и сердце, и душу заодно. Так черно и выжжено все было внутри. Врачи вынесли неутешительный вердикт. Детей у Адуси быть не может. Отвалилась дома еще два месяца – к зеркалу не подходила. Пугалась сама себя. Поднял ее настойчивый звонок в дверь. Она решила не открывать, но звонившие, похоже, отступать не собирались. И правда, отступать им было некуда. За дверью стоял высокий и темноглазый худощавый мужчина с обильной проседью в густых волнистых волосах. За руки он держал двух девочек-близняшек лет семи-восьми, а за его спиной стоял худой мальчик лет тринадцати с печальными и испуганными глазами.

Это был тот самый любовник матери, бакинский армянин-вдовец, невольный и косвенный участник ее трагической гибели. Бежал он тогда из Баку, как бежали в ужасе и страхе его собратья, бросив все, чтобы просто спасти свои жизни. В Москве, кроме бедной Адусиной матери, близких знакомых у него не было. Позвонить он ей не мог – телефон был отключен. Растерянная Адуся впустила их в свой дом. На кухне дрожащими руками она накрывала чай и рассказывала ему тихо о том, что мать она похоронила два года назад. Истинную причину ее гибели открывать она не стала. К чему? И так слишком много горя пережил этот человек. Он рассказывал ей, что пришлось бросить все – дом, вещи, только спастись и бежать. Дети сидели тихо, как мышата, испуганно прижавшись друг к другу.

Они молча выпили чай, и мужчина, тяжело вздохнув, поднялся со стула.

– Куда же вы теперь? – тихо спросила Адуся.

Мужчина молча пожал плечами. Адуся достала из шкафа белье и пошла стелить им постели. Она раздвинула тяжелые шторы на окнах и увидела желто-багровую листву на деревьях и яркое круглое солнце, уходящее за горизонт. И наконец приказала себе жить.

Эта чужая семья прожила у нее полгода, и все они стали ей почти родными, почти родственниками. Она проводила с детьми все свое время, ходила гулять в парк, сидела в киношках на мультиках, возила их в Пушкинский, в Третьяковку и в зоопарк, читала на ночь книги, варила им супы, купала девочек и заплетала их прекрасные волосы в косы. Это и спасло ее тогда от страшной тоски и одиночества, и свои беды и страдания становились как-то менее значительными и весомыми, что ли.

Правда, теперь она начала печалиться из-за того, что это все обязательно кончится, и кончится совсем скоро, и они уедут, покинут ее дом, и она опять останется одна со всеми

вытекающими отсюда последствиями. Отец семейства целыми днями мотался по инстанциям – собирал бесконечные справки и бумаги на отъезд в Америку к дальним родственникам. Собирались они уехать в Сан-Франциско, где была большая армянская община. Оформили их как политических беженцев. Адусе было стыдно, но про себя она молила Бога, только бы что-то задержало их в Москве, ну нет, конечно, не дай Бог что-то серьезное, ну какая-то затяжка, ну хотя бы еще на пару месяцев. «Дура привязчивая!» – ругала она себя. Но все же она почти совсем ожила и даже начала улыбаться. Невесть откуда появились силы – куда деваться, когда столько хлопот и такая семья. Только вот нарядов своих она больше не носила. Ходила теперь в джинсах, свитерах и маечках. На ногах – кроссовки. И волосы остригла совсем коротко, под мальчика. А затейливые свои туалеты собрала в два больших мешка и отнесла на помойку. Кто захочет – заберет, а нет, так черт с ними всеми вместе с ее, Адусиной, прошлой жизнью.

А однажды вечером, когда дети уже спали, Адуся и глава семьи пили на кухне чай. Молчали. Адуся встала со стула, чтобы отнести в раковину чашки. Он поймал ее руку и приложил к своим губам. Адуся замерла, бешено заколотилось сердце. А потом он встал, подошел к ней близко, глаза в глаза, и предложил ей выйти за него замуж. И прожить вместе всю оставшуюся жизнь. Так и сказал – сколько отпущено. Что это было? Корысть, вовсе не оскорбительная, а вполне понятная и объяснимая, человеческая благодарность, неистребимый и самый сильный из инстинктов – инстинкт родительский? Что двигало им? Да какая, в общем, разница? Наверное, это был единственный и самый верный выход для них. Для них, побитых и намордованных жизнью, страдающих и одиноких. Адуся не думала ни минуты. Она тихо сказала «да» и положила голову ему на плечо. И оба ощутили в эти минуты непомерную легкость и покой. Наверное, то, что называется счастьем. Ведь в жизни, кроме страсти и любовной горячки, есть еще очень важные и значительные вещи.

На деньги, вырученные от продажи Адусиной квартиры, в Америке они купили бизнес – небольшой магазинчик, торгующий спиртными напитками, – подобным ее муж занялся на прежней неласковой родине. Дело вполне пошло – умный и неленивый человек поднимется везде. Сначала сняли небольшую квартиру, а спустя пару лет купили дом с садиком и маленьким бассейном. В саду росли розы всех цветов. Сын поступил в университет, а девочки росли умницами и помощницами и радовали родителей. Муж много работал, а Адуся с удовольствием занималась семьей – готовка, уборка, цветы в саду. В общем, обеспечивала крепкий тыл. И это у нее получалось совсем неплохо. А о своей прошлой жизни она почти не вспоминала. Что вспоминать о плохом, когда вокруг столько хорошего? И ничего плохого тем людям из той ее, прошлой жизни она не желала. Пусть все у них будет хорошо, Бог им судья. В общем, желала им только добра – так глубоко и искренне, как может желать человек с правильно и счастливо сложившейся судьбой. Тот, кто вполне может назвать себя счастливым без всяких там оглядок и оговорок. Уверенно и без сомнений. Способный все это оценить и сберечь. И, безусловно, всем этим бесконечно дорожить.

Хоть Бога к себе призови

Иван Коновалов считал себя человеком счастливым. Хотя, если быть честным до конца и не кривить душой... В общем, думать обо всем об этом и разбираться не очень-то и хотелось. Семья Ивана состояла из трех человек – собственно сам Иван и две его женщины. Жена и дочь. Самые дорогие на свете люди. У жены было редкое имя – звали ее Нинель. Нежное и звонкое, как капель. Дома для удобства ее называли Нелей. А дочке Иван придумал имя и вовсе затейливое, хотя по нынешним временам не редкое. Дочку звали Анжеликой. Неля была недовольна и презрительно фыркала. Имя ей казалось напыщенным и безвкусным. Но здесь Иван был тверд как скала. Хотя, если говорить про Нелю, она всегда была всем недовольна, фыркала чаще, чем надо, и так, слегка, по ходу дела, немножко презирала все, что касалось Ивана. Так уж сложилось. С самого начала. То есть негласно считалось, что, выйдя за него замуж, Неля вообще сделала ему большое одолжение. С этим ощущением она и жила. Так бывает всегда, когда один человек сгорает от любви, а другой эту любовь небрежно принимает. Просто ей пора было замуж, а тут – вполне справный для жизни человек. Хотя притязаниям ее он не соответствовал вовсе. Иван был почти деревенский. Почему почти? Потому, что не из глухой деревни, а из крупного поселка городского типа. Со своей школой, больницей и пятиэтажными типовыми домами. Для Ивана – почти город. Для Нели – почти деревня. Сама она была москвичкой, правда, в первом поколении, да и не из крестьян: отец – военный, а мать – воспитательница в детском саду. Почти интеллигенция, особенно на фоне Ивана. И сама Неля, между прочим, окончила институт. Институт культуры. И значит, была культурным человеком. И к тому же не мещанкой. Никакие там картинки, цветочки, занавесочки ее не интересовали. Этим занимался Иван. Хотя считалось, что на хозяйстве Неля. Но заниматься домом Неля не любила: труд обременительный и неблагодарный. Утром уберешься – вечером опять пыль и грязь, полдня обед готовишь – все съели за пятнадцать минут, и плюс гора грязной посуды. Одно раздражение, суета и бессмысленность. В общем, все в тягость, все через силу. Иван работал мастером-механиком в автосервисе. Специалистом по иномаркам. К хорошим специалистам всегда очередь, всегда полно клиентов. Работа тяжелая, но зарабатывал он прилично. К тому же не пил. Вот и получилось – всего два года промучились в хрущевке с Нелькиными родителями, построили кооператив. Зал, спальня, детская. Стенка югославская, мягкая мебель – велюр. Люстра чешская. На кухне холодильник до потолка забит под завязку. А спальня и вовсе белая, с витыми золочеными ручками. У Нельки шуба, дубленка в пол. Три меховые шапки – песцовая, норковая и из бобра. Дочка Анжелика в английской спецшколе. На пианино учится. На бальные танцы ходит. Одета как куколка. В общем, живи и радуйся. А радоваться что-то не получалось. Недовольна Неля. Чем? Сложно сказать. Настроение минорное, грустит все время. Вдаль смотрит. Смотрит и молчит. В глазах – слезы. А Иван старается. То сережки с изумрудом на 8 Марта достал – к зеленым Нелькиным глазам. То костюм из «Березки» притащил – Франция, 70 процентов ангоры, 30 процентов хлопка. А она глянет и вздохнет тяжело. И даже не примерит. Иван расстраивается до слез – всю ночь на кухне курит. Под утро, вздыхая, идет в спальню, ложится, обнимет ее осторожно, а она лежит к нему спиной, не повернется. Только тихо всхлипывает. Мука, короче. Утром Иван зубы стискивает – и на кухню. Дочке кашу варить, а Неле кофе. У нее давление низкое. Она встанет – хмурая, заспанная, кивнет слегка. А он смотрит на нее и налюбоваться не может. Господи, как же он любит ее! Всю – от макушки до пяток и без остановок. Волосы ее жесткие, в мелкую кудрявую стружечку, глаза грустные, узковатые, с прозеленью. Руки, плечи узкие, хрупкие, пальцы тонкие, длинные, косточки на средней фаланге широкие – колечко с трудом пролезает. Даже ступни ее – крупные, широкие и коленки острые – от всего сердце заходится. Ох, обнять бы ее так,

чтобы тонкие косточки хрустнули. До боли сжать. Нет. Не получается. Вот и живи, мучься.
На сердце что-то вроде глыбы каменной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.